И. А. БЕЛОУСОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА

ВОСПОМИНАНИЯ

1880—1928

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
«НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ».
МОСКВА—1928

Центр. полиграфическая
школа Ф З У имени
т. Борщевского
«Мосполиграф»
2-я Рыбин-
ская, 3.

Главлит № А 7973 Тираж 3 000.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Литературная среда» является второй частью моих воспоминаний. Первая часть вышла в 1926 г. в издательстве «Сегодня» под названием «Литературная Москва», но в ней мои воспоминания касались только писателей из народа и писателей-народников, а «Литературная среда» касается других группировок писателей, а потому является совершенно самостоятельной книгой.

Вот все, что сохранила мне память о пройденном мною 45-летнем литературном пути, на котором встречались люди, отметившие этапы в развитии русской литературы.

Москва
1927 г.

Свои воспоминания я начинаю с 1880 года и даже точно определяю день — 6 июня. В этом году я держал выпускные экзамены в 1 Московском городском училище, помещавшемся тогда в старом казенном здании между Ильинкой и Варваркой в Ипатьевском переулке.

Как ни был я занят экзаменами, все же меня интересовало и иное: я ждал открытия памятника Пушкину. Я уже ранее видел, проходя по Тверскому бульвару, его фигуру, закутанную в полотно.

Открытие памятника было назначено на 6 июня. Вот уже прошло 47 лет с тех пор, а я как сейчас помню этот день.

Я ушел из дома с утра, сказавши, что иду в училище, а на самом деле я направился к Тверскому бульвару.

Средина площади, прилегающая к памятнику, была окружена полицией, и пропускали туда, кажется, только по билетам. Огромная толпа заняла окраины площади.

Я пристроился на ступеньках входа в какой-то магазин, и мне было видно, что делается у самого памятника.

Я не слыхал речей, но издали ясно видел фигуры—уже знакомые мне, 16-летнему мальчику—писателей, портрѐты которых висели на стене моей комнаты.

Вот высокая, с седой головой фигура Ивана Сергеевича Тургенева, а вот проходит среднего роста, немного сутуловатый Федор Михайлович Достоевский...—больше я никого не знал.

Я видел, как спадала пелена с памятника и как величественная фигура поэта вырисовалась на фоне неба.

Я помню продолжительный гул толпы в этот момент.

Экзамены я сдал благополучно, получил аттестат и какую-то книгу в награду. Надо было начинать что-то новое.

Инспектор училища советовал моему отцу продолжать мое образование и предлагал подать прошение о поступлении в учительский институт, но отец не согласился, и я сделался помощником в его портновском деле.

Однако любовь к литературе, заложенная в меня в училище, не только не ослабела, но все более и более развивалась: я запоем читал книги, которые брал из библиотеки братьев Улитиных.

Я любил ходить «под ворота» на Никольской улице и на Малой Лубянке, где продавались старые книги, и редко возвращался оттуда без покупки, а покупал я большею частью стихи. У меня уже образовалась своя библиотечная полочка, на которой стояли томики Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Фета, Майкова, Полонского, Сурикова. Я их каждый день держал в руках,—читал и перечитывал. Не говоря о Пушкине, Лермонтове и Кольцове, сильное впечатление производил на меня Суриков своими простыми, бесхитростными, задушевными стихами-песнями. Покупал я и сборники стихов никому ни тогда ни теперь неведомых авторов, и сам я начинал пробовать писать стихи.

Эта способность открылась у меня еще в городском училище, и вот как это произошло: в предпоследний год моего пребывания в училище мне пришлось написать, вернее—перевести одно стихотворение-песенку. Случилось это так: инспектор училища Иван Федорович Светиков, о котором я уже упоминал в I части моих воспоминаний, был большой любитель пения и даже ввел этот предмет в число классных занятий. Он составил из учеников хор, который по большим праздникам пел в церкви Грузинской божией матери, находящейся недалеко от училища.

В классе мы разучивали разные песенки. Однажды Светиков стал разучивать с нами какую-то

малороссийскую песенку; слова этой песни многим были непонятны, и учитель предложил эту песенку перевести на русский язык. Я взялся за это дело и при помощи учителя перевел стихами песенку; она стала распеваться нашим хором.

Это было мое первое литературное произведение, получившее некоторую общественность.

В то время, когда я сдавал экзамены, к нам из Киева приехала в гости наша родственница—тетка моей мачехи. Она очень полюбила меня, и по окончании экзаменов выпросила у моего отца позволение взять меня с собой погостить в Киеве.

Новые люди, южная природа с мягким климатом очаровали меня. А любовь к природе во мне проснулась рано: еще совсем маленьким мальчиком я любил бегать в кремлевский сад, и как я радовался желтым одуванчикам, рассеянным в зеленой траве, покрывавшей скаты кремлевского холма. Я родился и рос в грязном, пыльном и душном Зарядье, переполненном мастеровым людом, там ни травки, ни деревца не было,—и вот, я помню, как лет семи я в первый раз попал в деревню к родственникам отца, недалеко от Москвы. Мы шли от станции по проселочной дороге, и когда я увидал впервые поле с цветущей и волнующейся рожью,—я заплакал...

Два месяца, проведенные в Киеве, оставили неизгладимое впечатление на всю жизнь.

Я бродил по окрестностям Киева,—по ярмаркам, базарам, заслушивался слепцов-лирников, сидящих со своими поводырями-мальчиками у пыльных дорог; подолгу засиживался на берегу Днепра, любуясь синими степными далями за Днепром. Часами простаивал у витрин книжных магазинов на Крещатике, покупал книги на украинском языке, и в первую очередь купил «Кобзаря» Шевченка в издании Иогансона за 35 копеек. Прислушиваясь к украинской речи, я начинал понимать прочитанное по-украински. И с каждым разом, когда я принимался за чтение «Кобзаря», песни и думы гениального поэта все больше и больше поражали и очаровывали меня своей красотой.

В Киеве произошел один случай, и когда я вспоминаю о нем, то невольно провожу аналогию с тем, что случилось очень недавно: киевские родственники мои задумали поставить памятник на могиле своего умершего сына и попросили меня написать для памятника стихи. Я это сделал—стихи написал, и они были вычеканены на памятнике, но стихов этих я теперь не помню. И вот с тех пор прошло много времени—это было еще до начала моей литературной жизни, а теперь—под конец ее—я получил точно такое же предложение, как от киевских родственников: встречаю на улице знакомого сторожа с Семеновского кладбища,—я живу около этого кладбища,—он и говорит мне:

— Знаете что? Написали бы вы мне несколько стишков на могильные памятники, их у нас многие спрашивают.

Сторож вынул из кармана записную книжку и показал на пустые страницы.

— Вот тут и напишите стишки и номера поставьте: 1, 2, 3, 4, 5.

— Что же эти номера должны означать?—спросил я.

— А это цена: рубль, два, три... С кого сколько взять—мы это знаем... Можете наверняка заработать хорошие деньги,—их у нас очень спрашивают.. А потом мы с вами сочтемся...—обнадежил меня сторож.

Это предложение сначала показалось мне странным, но потом я рассудил,—ничего тут странного не было. И хотя предложение сторожа я оставил без последствий, но, вспомнив про такой же случай в Киеве, подумал: «Ничто не ново под луной»,—ведь писал же я стихи на могильный памятник слишком 45 лет тому назад,—отчего бы мне и теперь не писать? Тем более я на это имею законное право, так как в кармане у меня лежит «патент на право производства литературы». Это факт очень курьезный, и об этом курьезе следует рассказать особливо, хотя, рассказывая, я несколько отклонюсь от хода моих воспоминаний.

Это случилось в 1923 году. Явился ко мне агент местного финотдела и заявил, что я, как лицо, занимающееся свободной профессией, обязан взять патент.

Я удивился и спросил агента, на какое же производство я должен взять патент, если я занимаюсь только литературой?

Агент стал доказывать мне, что и литераторы обязаны брать патенты, и показал мне список лиц тех категорий, которые должны на свои промыслы брать патенты. В списке значились прачки, белошвейки, зубные врачи, литераторы и др.

Уходя, агент пригрозил, что если я не исполню его требование, то он приступит к описи моего имущества, и назначил крайний срок явки в финотдел.

Делать было нечего,—я явился в финотдел, заполнил какую-то анкету, заплатил деньги и получил квитанцию на право получения патента.

На другой день отправился за самым патентом и получил «патент третьего разряда на личное промысловое занятие» на 6 месяцев с 1 июля по 1 октября 1923 года.

В графе—«наименование промысла»—значилось: «литератор».

Взяли с меня за это удовольствие 424 советских рубля.

Получив патент, я должен был зарегистрировать его в местном отделении милиции в трехдневный срок, чтобы милиция знала, какой промышленник живет в ее участке.

Являюсь к начальнику милиции; происходит регистрация патента,—на него наклеивают 6 марок по 5 рублей в пользу инвалидов и взимают еще 5 рублей на канцелярские расходы...

Когда я эту процедуру проделал, мне стало легко и весело.

Получив от начальника милиции готовый патент, я сказал ему:

— Ну, вот теперь я могу писать свободно, где угодно,—даже на заборах могу писать!..

— Нет, этого нельзя делать,—заметил начальник.

— Почему?—удивился я.—У меня же есть патент?

— Ну, как вы не понимаете? Это же, ведь, неудобно...

Начальник, видимо, представлял «заборную» литературу в полном ее смысле, но я понял по-другому и ответил:

— Да, это верно—писать на заборах неудобно, потому что, если я напишу на заборе, то надо или цензора к забору приводить, или забор в цензуру вести...

Распрощался с начальником милиции, положил в карман патент и ушел. Как-будто этим дело и закончилось, но не совсем.

Сделавшись «промышленником», хотя я на своем «промысле» и ничего не заработал, однако, в свое время, из финансового отдела получил извещение о причитающемся с меня подоходно-имущественном налоге и в довольно крупной для меня сумме...

Тут уж мне стало не весело!

Платить было нечем, да и не за что...

Тогда я, на правах «промышленника-писателя», засел за письменный стол и написал фининспектору заявление о том, что я, проработавши в русской литературе слишком 40 лет, теперь не в состоянии носить звания русского писателя и слагаю с себя это звание с обязательством никогда ничего не писать.

Понес заявление в финотдел.

Главного фининспектора не было, он был в отпуску; его заменял какой-то добродушный на вид старичок.

Подаю ему заявление; берет, читает и спрашивает:

— Так вы, значит, отказываетесь от звания писателя совсем?

— Да, отказываюсь. Что же делать—я не в состоянии платить налоги,—говорю я.

— Так, так!.. Ну, а скажите,—бумагу, перья, чернила будут вам продавать в магазинах?—после некоторого раздумья спросил меня старичок.

Я не ожидал такого вопроса, но ответил:

— Если с вашей стороны не будет никакого запрещения, то продавать мне будут. Да я и не знаю, как можно запретить?—добавил я.

— Конечно, запретить нельзя, и вы бумагу, перья, чернила покупать будете и, конечно, будете писать у себя дома. Вот и опишите всю эту историю,—посоветовал мне старичок и положил мое заявление на стол.—Когда надо, вас известят о результатах,—сказал он на прощанье.

Через некоторое время я действительно получил через милицию извещение о том, что налог с меня сложен...

Впоследствии о своем патенте я имел разговор с фининспектором. Когда я ему сказал о патенте, он удивился.

— Кто же вас обязал взять патент? Вам никакого патента брать не полагается. Это сделал какой-нибудь неопытный агент.

Мне опять стало весело, и я спросил:

— А каким образом мы, обыватели, должны отличать опытных инспекторов от неопытных? Вы бы им особую форму придумали для отличия,—посоветовал я.

С тех пор я не выправлял патента...

Конечно, мы теперь изжили все эти неурядицы, теперь ничего подобного случиться не может, но это было...

Отступление вышло немного длинно; теперь я буду продолжать по порядку.

Вернувшись из Киева в Москву, я вплотную принялся за работу отца—выучился кроить, стал принимать заказы, разносить готовые вещи заказчикам—и в то же время я не бросал читать книги и писать стихи, которых у меня к тому времени накопилось довольно много.

В своей комнатке я развесил по стенам портреты любимых писателей,—на первом месте висел кудрявый Пушкин. Моей мачехе—женщине совершенно неграмотной—это очень не нравилось, и она, входя в мою комнату, говорила:

— Чем своих лохматых-то развешивать по стенам, меня бы повесил!..

В конце 1881 года я прочитал в газетах об'явление о том, что с будущего 1882 года в Петербурге будет издаваться самая дешевая ежедневная газета «Свет». Цена ее по подписке была об'явлена 4 рубля в год, а на 3 месяца—1 рубль с пересылкой и доставкой. Я в то время не интересовался—кто издает газету, а о направлении и не думал, да оно меня тоже не интересовало: я знал по программе газеты, что в ней будут помещаться стихи,—этого с меня было достаточно для того, чтобы

я послал в редакцию один рубль и сделался подписчиком «Света». Читал я в газете, кажется, одни только стихи. Имена поэтов все были новые, неизвестные, но качество стихов было так невелико, что я, сравнивши их со своими, сам решил послать несколько своих стихотворений в редакцию. Долго ждал я, развертывая с нетерпением каждый номер газеты, появления своих стихов и, наконец, в № от 26 февраля 1882 года я увидал напечатанными два моих стихотворения. Первое начиналось: «Не томись напрасной думой», а второе—забыл.

День 26 февраля стал для меня вдвойне знаменательным: в этот день я впервые публично выступил на литературном поприще, и в этот же день была 21-я годовщина со дня смерти Т. Г. Шевченка. День этот и до сих пор отмечается не только на Украине, но и по всему СССР. Так имя Шевченка связалось с первым днем моего вступления в литературу.

И в другом случае имя Шевченка было связано с дальнейшей моей деятельностью: не расставаясь с «Кобзарем», читая его, изучая, я начал пробовать переводить его песни и думы на русский язык. Когда у меня получились более или менее удачные переводы, я их напечатал впервые в 1886 году, а этот год отмечал двадцатипятилетие со дня смерти Шевченка. Так имя Шевченка каким-то непонятным, случайным образом вплелось в мою жизнь.

В 1885 году мне случайно пришлось познакомиться с одним заказчиком отца—учителем Мещанского училища Иваном Павловичем Чеховым: меня отец послал отнести ему заказ, и я с удовольствием отправился из Зарядья к Калужским воротам.

Заказчиками отца были большею частью мелкие лавочники, приказчики, или, как их тогда называли, «молодцы», и такие же мелкие ремесленники, как он сам. Люди же из другого класса, как, например, учителя, считались людьми благородными, образованными, и к ним у отца было другое отношение.

Отец мой выучился кройке самоучкой; мерки он снимал длинными, узкими бумажными ленточками, делая на них надрывы, которые обозначали длину, ширину и об'ем.

Для каждого заказчика была особая бумажная мерка, на которой отец записывал, кому и какая вещь заказана. На мерках простых заказчиков он обыкновенно писал: «Ивану рыжему от купца Нюнина поддевка» или: «Жемочкинскому молодцу пальто на барашковом меху»... Мерки же «благородных» заказчиков подписывались полным именем, отчеством и фамилией.

И я проникался уважением к этим «благородным» людям, и меня тянуло к ним.

В то время я, кроме «Света», напечатал несколько стихотворений в московской газете «Новости Дня», издававшейся Липскеровым.

Но что я пишу стихи и печатаюсь—это я держал в тайне от домашних, так как в нашем кругу подобные занятия считались пустячным делом, баловством. Эту тайну я поведал Ивану Павловичу Чехову.

— А у меня есть брат—Антон,—он тоже пописывает; хотите, я вас с ним познакомлю,—предложил мне Иван Павлович.

И вот, как-то раз, зимним вечером мы отправились к Антону Павловичу; он в то время только-что окончил медицинский факультет Московского университета, и жил на Большой Якиманке, в доме Клименкова. Верх этого дома отдавался под свадебные балы и поминальные обеды, а внизу квартиру занимали Чеховы. На двери парадного хода была прикреплена простая визитная карточка с надписью:

«Врач Антон Павлович Чехов».

Пришли мы с Иваном Павловичем как раз к вечернему чаю. За столом сидели: Марья Павловна, сестра Антона Павловича, и мать его, Евгения Яковлевна. Сам Антон Павлович сидел у камина, сдирал бересту с поленьев и бросал ее в огонь.

Нас усадили за стол.

Антон Павлович сначала был молчалив, потом мы разговорились о литературе, он показал мне несколько только-что вышедших новых книг и дал почитать книжку стихов какого-то молодого поэта Нервина,—кажется, это был псевдоним,—и похвалил ее...

После первого визита я довольно часто бывал в доме Клименкова.

Однажды я встретил там Владимира Алексеевича Гиляровского: он вместе с Антоном Павловичем сотрудничал в «Будильнике», и был близок к семье Чеховых. При нем Антон Павлович заметно оживлялся. Да при таком человеке, как Гиляровский, нельзя было не оживиться: шутки, остроты, анекдоты, экспромты в стихах, все интересные новости Москвы сыпались из него, как из рога изобилия...

Он и сейчас здравствует и старается казаться бодрым, но уже заметно, что годы (ему под 80 лет) усмирили этого неугомонного человека и укротили его необыкновенную подвижность.

Я знаю его вот уже более 40 лет и представляю его таким, каким он был в годы моего первого знакомства с ним. И теперь многое в нем осталось от прежнего: встретишься,—расскажет анекдот, угостит из неизменной табакерки неизменным табаком, пахнущим какими-то духами. Разговоришься, спросишь о здоровье,—и сейчас та же неизменная фраза:

— А вот попробуй мои мускулы на руках!..

Владимир Алексеевич был действительно силачем. Он состоял членом гимнастического общества, членом которого был и А. П. Чехов.

В молодости Гиляровский ломал подковы. Мне рассказывали, как он однажды демонстрировал свою силу в одной приятельской кампании, сидевшей в ресторане: принесли подкову, он сжал ее руками, а потом взялся за дужки и разорвал ее пополам, притом с такой силой ударил рукой по спинке дивана, на котором сидел, что вся спинка отлетела далеко в сторону.

Бывало нельзя пройти по центральным улицам Москвы, чтобы не встретить Гиляровского: его знала вся Москва и он знал всю Москву, начиная с босяков Хитрова рынка и кончая теми, кто только в первый раз попадал в Москву.

Так помню, когда сотник Дмитрий Николаевич Пешков из далекой Сибири приехал в Москву верхом на своей лошади, сделав несколько тысяч верст пути, и когда Москва встречала его, как героя,—Пешков первым долгом заявился к Гиляровскому.

Когда-то сам служивший в русско-турецкую войну в пластунах на Кавказе, Гиляровский вообще вел дружбу с военным людом,—кубанские и донские казаки были его приятелями.

Вспоминается мне один случай: когда Гиляровский был избран в действительные члены «Общества Любителей Российской Словесности», он на одном из заседаний общества читал свою поэму «Азраил». На это заседание он привел с собой двух донских казаков. Я, во время перерыва, послал ему записочку следующего содержания:

Как читал ты «Азраила»,
Видно, чуял слабость сил,—
Чтобы публика не била,—
Двух казаков пригласил...

И сейчас же получил от него ответ:

Коль ходил я на медведя,
Так не страшно мне теперь:
С этой публикой легко я
Справлюсь и один,—поверь...

«Король репортеров», как называли тогда Гиляровского, был вездесущ. На крупный пожар он мчался вместе с пожарной командой. При раскрытии какого-нибудь убийства, ограбления или крупной кражи, работал вместе с сыщиками в самых опасных местах, и что бы ни случилось выдающегося в Москве или на ее окраинах,—Гиляровский был первый там.

Помню, у него был свой месячный извозчик, который каждый день в известные часы под'ез-

жал к крыльцу его квартиры, и Гиляровский раз'езжал на нем целый день. Иногда случалось, что никаких дел не было, тогда он приезжал ко мне и предлагал:

— Поедем на вокзал!

— На какой вокзал? Зачем?—спрашивал я.

— Да на какой-нибудь,—не все ли тебе равно?.. Не люблю, когда спрашивают... Ведь кто-нибудь уезжает, а кто-нибудь приезжает... Поедем!

И мы ехали на какой-нибудь вокзал.

Там Владимира Алексеевича знали все буфетчики и официанты.

Он только-что присядет к столу, а ему уже несут его излюбленное, обычное—лафитный стакан водки и сырую котлету, залитую сырым яйцом и густо посыпанную солью и перцем.

Однажды на Курском вокзале встретили поэта Василия Львовича Величко,—он уезжал на юг.

Сели за столик. Гиляровский вынул из кармана последний номер журнала по коневодству—«Листок Спорта», который он тогда издавал, дал его Величко и сказал:

— На, Вася, тебе мой журнал,—почитай в дороге.

Величко взял журнал и, увидав надпись: «Цена 15 копеек», вынул из кармана пятиалтынный и дал

его Гиляровскому. Тот взял, сплющил монету пополам и бросил на стол со словами:

— На-ка тебе, Вася, сдачи,—по своей цене отдаю....

Гиляровский провел в молодости красочную жизнь, полную приключений,—и в последнее время, живя в Москве более или менее спокойной жизнью, он никак не может примириться с простыми, обыденными фактами и старается видеть в них что-то необыкновенное: он так старается преувеличить какой-нибудь незначительный случай, что рассказ о нем превращается в анекдот.

Помню знаменитую «Ходынку» и катастрофу на ней в дни коронации Николая II. Я встретил Гиляровского на другой день и спрашиваю его, был ли он на Ходынке?

Гиляровский оживился и с увлечением начал рассказывать, как он стоял в самой гуще, как кругом его стояли уже умершие, задохшиеся люди, так плотно прижатые друг к другу, что не могли упасть.

— Какое же ощущение ты испытывал, стоя в сжатой толпе?—спросил я.

И вот тут дальше пошло нечто, очень похожее на анекдот...

— Ты знаешь что? Стоять в толпе, рядом с мертвыми телами, уже начинающими распухать,—ничуть не страшно, а вот жажда была так велика,

что за глоток воды, не знаю, чего бы не дал. Когда я вырвался из толпы, первая мысль была— найти где-нибудь воды, но кругом ее не было. Мне попался разносчик с апельсинами, я выкинул ему рубль, взял десяток апельсин, размял их и умылся апельсинным соком. Но представь себе, какой я имел вид,—ведь апельсины-то оказались корольками!..

Гиляровский был в большой дружбе с Власом Михайловичем Дорошевичем, которого я часто встречал у него. Высокого роста, бритый, похожий на провинциального трагика, Дорошевич в то время все больше и больше входил в славу, как фельетонист; издатели московских газет гонялись за ним, перебивали его друг от друга, заключая с ним контракты на сотрудничество с огромным годовым окладом гонорара. Фельетоны его действительно пользовались огромным успехом, поднимая чуть не до сотен тысяч тиражи изданий, в которых он сотрудничал....

Дорошевич умер в 1922 году в Ленинграде.

Гиляровский был очень близок с А. П. Чеховым, который в то время только-что начинал вступать на литературный путь, помещал свои небольшие юмористические рассказы в «Стрекозе», «Будильнике», в «Сверчке», издававшемся братьями Вернерами, подписываясь «Антоша Чехонте», «Человек без селезенки» и пр.

Гиляровский также сотрудничал в юмористических журналах.

Темы для своих рассказов Антон Павлович брал из современной жизни по своим личным наблюдениям и по рассказам других.

Так, между прочим, темы для рассказов ему доставлял его младший брат Михаил Павлович— в то время студент Московского университета.

Антон Павлович заключил с ним такое условие: за каждым обедом и чаем Михаил Павлович должен был рассказать что-нибудь интересное и за каждый удачный рассказ получал по двугривенному.

Михаил Павлович и сам, еще будучи студентом, начинал писать, помещая свои рассказы в детском журнале «Друг Детей», издававшемся теми же братьями Вернерами, подписываясь псевдонимом «Михаил Богемский». Впоследствии Михаил Павлович издавал детский журнал «Золотое Детство». Книжка рассказов Михаила Павловича вышла отдельным изданием. Кроме того, он много переводил иностранных авторов.

Я нередко брал у Антона Павловича книги для прочтения из его довольно порядочной библиотеки и сам делился с ним своими книгами. Так, помню, я в 1886 году приобрел две книженки: «Избранные мысли Гейне» и «Изречения в прозе Гете», изданные В. Берманом и С. Войтинским в Петер-

бурге, и сказал об этом Антону Павловичу; он выпросил их у меня, держал довольно долго; а потом возвратил их мне, сказав, что книжки интересные.

Эти книжечки сохранились у меня до сих пор. Просматривая их теперь, я нашел на полях небольшие отметки карандашем в трех местах,— думаю, что эти отметки сделаны Антоном Павловичем.

Вот в каких местах сделаны отметки в «Мыслях Гейне», в отделе «Природа»:

«Аромат—это чувство цветов. Как человеческое сердце сильнее чувствует ночью, когда оно считает себя одиноким и неподслушиваемым, так цветы, в задумчивой стыдливости, ждут ночной тьмы, чтобы вполне отдаться своим чувствам и вылить их в сладком аромате».

И в другом месте:

«Я люблю море, как свою душу. Иногда мне кажется, что море и есть сама моя душа».

В книжке «Изречения Гете» никаких заметок нет.

Когда Антон Павлович, в начале своей литературной деятельности, сотрудничал в «Будильнике», там он познакомился с писателем Петром Алексеевичем Сергеенко, который также сотрудничал в юмористических журналах, подписываясь псевдонимом «Эмиль Пуп».

П. А. Сергеенко отличался большой предприимчивостью: то он задумывал издавать какие-то своеобразные альманахи; первым он думал выпустить альманах о Толстом, с новыми материалами, вторым—об авиации, тогда только-что зарождавшейся, а потом он обратился ко мне с предложением войти в компанию по устройству «библиотек для невест». Он говорил: «Вот купцы и богатые люди дают в приданое за своими дочерями золотые, бриллиантовые и другие дорогие вещи, а нужно сделать небольшие изящные шкафчики, наполнить их хорошими книгами и об'явить продажу «библиотек для невест»,—это будет ново и полезно».

Все эти планы не были осуществлены, но намерения были добрые.

П. А. Сергеенко впоследствии отошел от сотрудничества в юмористических журналах. Он написал роман «Богиня Диана» и ряд повестей и рассказов; а сделавшись поклонником Л. Н. Толстого, написал книгу «Как живет и работает Лев Толстой».

Вспоминая жизнь московских писателей того времени, можно сказать, что она резко отличалась от жизни писателей позднейшего времени: прежние писатели жили очень скромной домашней жизнью; ресторанная жизнь была развита только среди газетных работников, группировавшихся

тогд около «Московского Листка», «Новостей Дня» и «Русского Листка».

Может быть, потому, что прежняя жизнь текла в спокойном русле, оттого и взаимоотношения писателей были спокойнее, чем жизнь теперешних писателей: теперь каждый сверчок сидит на своем шестке и уж другого на него не пустит.

Упомянув о «Московском Листке», я хочу сделать небольшое отступление и рассказать об издателе этой газеты Николае Ивановиче Пастухове, который представлял из себя довольно интересную фигуру.

Известен Пастухов стал с тех пор, как начал издавать «Московский Листок». До издания этой газеты, его мало кто знал,—разве только писательская газетная братия. Но когда «Московский Листок» стал популярной московской газетой уличного типа и Пастухов начал богатеть и сделался видным лицом в Москве, о нем заговорили; начали вспоминать его прошлое,—говорили, что он прежде очень бедствовал и доходил до того, что нанимался в «Подновинском» в балаганы, где показывались разные «чуда природы» вроде теленка о двух головах и другие диковины; говорили, что Пастухов изображал «дикого человека», вывезенного будто бы из Австралии, который на виду у публики ел живых голубей и рычал по-звериному.

Между прочим, об этом «диком человеке» есть рассказ у Михаила Провича Садовского—известного артиста и в то же время писателя. Он печатал свои рассказы в журналах того времени. Рассказы его потом вышли отдельной книгой. Лично с Михаилом Провичем я не был знаком, но, как и все, восхищался его игрой на сцене Малого театра, на тех исторических подмостках, на которых подвизался его знаменитый отец Пров Садовский и гениальный Михаил Семенович Щепкин.

Перед смертью Михаил Прович долго болел и редко выступал в своих коронных ролях—в комедиях А. Н. Островского. Я помню, говорили, что он и больной продолжал посещать свой излюбленный ресторан «Эрмитаж» и пил содо-виски, при этом он всем говорил, что его фамилия происходит от названия этого напитка.

В 60-х годах Пастухов, состоя репортером «Русских Ведомостей», доставлял в газету сведения об уличных происшествиях. Из «Русских Ведомостей» Пастухов перешел в «Современные Известия», издававшиеся Никитой Петровичем Гиляровым-Платоновым, где он, на ряду с заметками хроникерского характера, помещал свои романы.

Описывая уличные происшествия и скандалы, Пастухов сблизился с московским купечеством, которое во время разгулов возило его по рестора-

нам и приобщало к своим кутежам. В то же время, когда Пастухов, по старому обычаю, приходил к этим купцам поздравить их с праздником, они не приглашали его к себе в комнаты, а высылали в переднюю стакан водки с закуской и рубль денег.

Многие дознались тогда, что Пастухов, до занятия репортерством, служил в 50-х годах целовальником [1]) в кабаке, а в 70-х имел даже свое собственное питейное заведение в одном из переулков Арбата.

В то время торговля вином была передана откупщикам, которые брали ее на откуп от казны. Крупным откупщиком в то время считался Кокорев, дом которого назывался «Кокоревским подворьем» и сейчас находится в неизменном виде на Софийской набережной.

Во время службы в целовальниках Пастухов написал и издал книжечку своих стихотворений, в которых было много автобиографического и бытового из кабацкой жизни, кроме того—описаний рыбной ловли. Страсть к рыбной ловле у Пастухова сохранилась до последних дней его жизни; он часто с большой компанией уезжал из Москвы на какую-нибудь рыбную реку—с большими запасами закусок и напитков. Для увеселения в эту компанию всегда приглашался певец Павел Иванович Богатырев.

Когда у «Московского Листка» явились конкуренты и в Москве начали издаваться «Новости Дня», «Русский Листок» и другие газеты, то в них в отделе «Почтовый ящик» нередко можно было встретить такого рода ответы: «NN. Присланное вами стихотворение принадлежит не вам, а Н. И. Пастухову»... и при этом приводилось стихотворение, взятое целиком из его книжечки, которая в то время представляла библиографическую редкость, так как Пастухов скупал и уничтожал эту книжку.

Делалось это конкурентами для того, чтобы выявить дискредитирующим образом вошедшего в славу счастливого издателя. Такого рода «Ответы» появлялись в конкурирующих с «Московским Листком» газетах не один раз и, надо предполагать, как это уязвляло «именитого» Пастухова!

Этим фактом был заинтересован и А. П. Чехов,—он сам мне показывал им добытую где-то книжечку стихов Пастухова. Может быть, не без его участия составлялись и ответы в «Почтовых ящиках», хотя с уверенностью об этом я сказать не могу.

Часто и в юмористических журналах того времени—в «Развлечении», «Будильнике» и других—по

являлись карикатуры на Пастухова. Помню, в «Развлечении» появилась такая карикатура: на улице у забора лежит пьяный Пастухов; около него стоит свинья и тычет его своим «пятачком» в бок; внизу подпись: «Не трогай, а то обличу».

А обличать—«пропаскивать»—Пастухов умел,—для этого в его газете был заведен отдел «Советы и ответы». Когда кто-нибудь хотел кого-нибудь «вывести на свежую воду», шел к Пастухову, сговаривался с ним, и на другой день в «Советах и ответах» появлялась заметка о попавшемся в просак обывателе,—правда, без упоминания полного имени, но довольно прозрачная, вроде того: «Юхотнику Гаврилычу. Чем прокучивать деньги у Яра,—кормил бы получше своих молодцов»... и т. п.

Помню, был такой случай. У одного купца—конфектного фабриканта—сын задумал жениться и нашел себе невесту, но отец находил этот брак неподходящим и не соглашался на него; родители же невесты без благословения отца жениха ни за что не соглашались выдать свою дочь. Тогда жених пошел к Пастухову и рассказал ему про свое горе. Вскоре в «Советах и ответах» начали появляться такие заметки про фабриканта, что он волей-неволей должен был согласиться на брак сына и дал ему благословение.

Долгое время московские обыватели, а главным образом московское купечество, находились под страхом обличения в «Московском Листке».

Наконец, нашлись люди, которые не вытерпели и пожаловались бывшему в то время московскому генерал-губернатору Владимиру Андреевичу Долгорукову. Тот призвал к себе Пастухова и приказал ему уничтожить отдел «Советы и ответы».

Огромною популярностью «Московский Листок» стал пользоваться тогда, когда в нем начал печататься роман Пастухова «Разбойник Чуркин».

Извозчики, дворники, мастеровые, служащие, прислуга, рабочие всех отраслей—можно сказать, весь пролетариат—зачитывался этим романом. Я помню, роман печатался по известным дням—раза три в неделю,—и в эти дни тираж газеты поднимался на такую высоту, до которой ни одна из московских газет никогда не достигала. Номера газеты с «Разбойником Чуркиным» у разносчиков брались на расхват.

Мастеровые складывались по копейке и покупали газету, которая стоила 3 копейки.

Надо заметить, «Московский Листок» пользовался успехом у мастеровых не только со стороны чтения, но и со стороны бумаги: они находили, что бумага «Листка» пригодна для куренья лучше других газет. «Московские Ведомости», «Русские Ведомости», «Современные Известия» и другие га-

зеты в этом отношении не могли быть конкурентами «Московскому Листку», поэтому он представлял из себя ценность и в виде старых номеров, которые продавались в овощных лавках по копейке за номер, специально для цыгарок.

Чуркин—не вымышленное лицо: он крестьянин деревни Барской, ныне Орехово-Зуевского уезда, Запонорской волости. Ал. Перегудов в своем очерке «Гуслица» («Новый Мир» № 6, 1927 г.) рассказывает между прочим и о Чуркине со слов его двух братьев, теперь глубоких стариков: «В молодости Чуркин работал на одной из красильных фабрик «Гуслицы». Видя притеснения и несправедливость фабрикантов и властей, он «взбунтовался»; за это он попал в тюрьму; убежав из тюрьмы, «ушел в разбойники». Разбойничал он около 20 лет. Богачей и фабрикантов обложил данью, которую собирал каждый месяц. Бедных не трогал—помогал им: кому избу поставит, кому лошадь купит»...

Имя Василия Васильевича Чуркина на его родине окружено легендами: так, про смерть его рассказывается, будто бы он не был пойман, а когда шел по лесу, молния ударила в березу, и упавшей березой убило разбойника. В другой легенде говорится, что его отравила его жена Арина.

После печатания в «Московском Листке», роман был выпущен отдельным изданием в нескольких томах.

Имя «Чуркин» стало нарицательным именем и до того популярным, что самые распространенные клички собак—«Шарик», «Жучка» были заменены кличкой «Чуркин». На вербных базарах известная игрушка «Морской житель» также называлась «Разбойником Чуркиным». Появилась даже песня «Про разбойника Чуркина», которая распевалась всюду и до того упрочилась, что ее поют и до сих пор, правда, с новыми вариантами и припевами.

История этой песни такова: она написана немецким революционным поэтом Фрейлигратом в 30—40-х годах прошлого века, а переведена на русский язык бывшим издателем «Развлечения» Федором Богдановичем Миллером в 1846 году под названием «Погребение разбойника».

Перевод начинается так:

В носилках похоронных
Лежит боец лесов.
И шесть вооруженных
Суровых удальцов
Среди лесов дремучих
Безмолвные идут,
И на руках могучих,
Товарища несут.

Переделка этого стихотворения—про разбойника Чуркина—начинается прямо с 5-й строки: «Среди лесов дремучих», а в 6-й строке слово:

«безмолвные» заменено словом—«разбойники». Это одно слово заменило первые 4 строки стихотворения Фрейлиграта.

Дальше все идет по подлиннику,—только в одном месте сделано существенное изменение: у Фрейлиграта сказано:

И на руках могучих,
Товарища несут:—
Носилки их п р о с т ы е—
Из ружей сложены...

В песне же поется:

Носилки н е п р о с т ы е;

Оно и понятно: какие же это простые носилки из ружей? Простые носилки—это две слеги.

Окончание стихотворения Фрейлиграта совершенно изменено, но смысл остается тот же:

Пришли они к могиле,—
Сказали: «братцы, стой!
Прощай, прощай, товарищ,—
Наш Чуркин молодой!»

Перевод Миллера заключает в себе 72 строки, в народной же переделке он сжат до 20 строк, но все существенное выражено полно и ярко; длинноты и все излишки фрейлигратовского стихотворения, как, например, описание Аппенин, выкинуты.

Если рассматривать со стороны полезности газету «Московский Листок», а в частности роман Пастухова «Разбойник Чуркин», то надо отдать справедливость, что Пастухов своим изданием, проникая в самые низы рабочего класса—в пролетариат, приохотил его к чтению, а через это к желанию разобраться в том, что вокруг него происходит. Но и в идеологии разбойника Чуркина, видимо, простой народ находил то, что не особенно нравилось людям, стоящим на страже самодержавия: рассказывают, что известный редактор «Московских Ведомостей» М. Н. Катков призывал к себе Пастухова и приказывал ему не продолжать романа и как можно скорее прикончить его.

В 1883 году Пастухов начал издавать еще газету «Нижегородская Почта», которая выходила только во время Нижегородской ярмарки; редактировалась она сыном Пастухова Виктором Николаевичем.

Одно время Пастухов издавал при своей газете еженедельный иллюстрированный журнал «Гусляр». Журнал этот издавался на хорошей бумаге; продержался он недолго. Так же недолго существовал и другой его юмористический журнал «Заноза».

Пастухов умер в 1911 году, 80 лет от роду. К концу жизни он так разбогател, что имел огромную типографию и дом в Ваганьковском переулке. Большие средства дозволяли ему устраивать поездки за границу,—он живал в Париже и в

Ницце, занося туда свои привычки истого москвича. Рассказывали, что ему в дорогих заграничных отелях приготовляли квас для ботвиньи, подавали на стол самовар, варили рубцы. В номере, где останавливался Пастухов, устраивалось нечто вроде маленькой молельни, в которой стоял огромный образ-складень с неугасимой лампадой,—этот образ Пастухов привозил с собой из Москвы.

Похоронен Пастухов на кладбище Скорбященского монастыря в Москве. Над могилой его стоит большая часовня-усыпальница.

Газетные работники, днем занятые беготней по редакциям и устройством своего материала, по вечерам обыкновенно сходились в каком-нибудь ресторанчике. Излюбленным местом свидания у них был ресторанчик «Венеция», помещавшийся на Кузнецком мосту в полуподвале, под кондитерской Бартельс, славившейся на всю Москву своими ванильными сухарями и молочными розанчиками.

Там каждый вечер можно было встретить Алексея Михайловича Пазухина—известного романиста «Московского Листка»; отдельные издания его романов были издаваемы Никольскими букинистами-издателями Леухиным, Морозовым и др.; талантливого поэта Сергея Федоровича Рыскина—рано умершего.

Рыскин помещал каждое воскресенье свои фельетоны в стихах о самых последних событиях, происшедших за неделю.

Я как-то спросил его:

— Когда вы пишете свои фельетоны?

— Пишу я их по субботам утром; для этого я покупаю полдюжины пива, сажусь за стол, и через два часа у меня фельетон готов!—об'яснил мне Рыскин.

Кроме стихов, он писал и романы из старообрядческой жизни, так как сам он происходил из старообрядцев. Его роман «Купленный митрополит» пользовался в свое время известностью.

В эту компанию входили поэт Стружкин, Риваль-Прохоров, начинавший писать в «Русском Богатстве», а потом перешедший на газетную литературу, И. Вашков, М. Былов, писавший исторические повести.

К числу газетных работников того времени относится и Родион Абрамович Менделевич. Не было ни одного юмористического журнала или газеты с отделом юмористики, где бы не появлялись стихи за подписями: «Р. Меч», «Родя». Стихи были отзвуками на всякую злобу дня, и надо было удивляться способности Менделевича схватывать все события и мелочи московской жизни и тут же воспроизводить их в стихотворной форме.

Переводя на современный язык, Менделевича можно назвать «пионером», у которого лозунгом служило: «Всегда готов»! Все эти писатели—газетные работники—умерли. Последним из них умер 28 апреля 1927 года Менделевич.

Между прочим: семья Менделевича очень талантлива,—из нее происходит известный скульптор Исаак Абрамович Менделевич.

Среди этой компании газетных работников и в ресторанах и в редакциях можно было встретить низкого роста старичка с большой седой бородой. Это Николай Петрович Бочаров — ходячая литературная энциклопедия, литературный справочник. Он начал свою деятельность в 60-х годах, встречался и знал многих писателей, особенно был близок с писателями разночинцами-народниками. Состоя секретарем местного статистического комитета, Бочаров в то же время редактировал «Московские Губернские Ведомости». Желая сделать из этого официального органа литературную газету, он пригласил к сотрудничеству многих литераторов, а в секретари взял известного писателя-народника Александра Ивановича Левитова.

Н. П. Бочаров умер в первые годы революции.

К газетным работникам того времени можно причислить и Илиодора Ивановича Пальмина. Имя его забыто в литературе. Многое из написанного им было не плодом вдохновения, а писалось «ради

куска хлеба». Стихи его печатались в 80-х годах прошлого столетия во многих юмористических журналах и газетах, но некоторые появились и в толстых журналах—«Русской Мысли» и др.

При жизни Пальмин выпустил книгу стихов под названием: «Сны на яву», но и книга эта забыта. Одно только его стихотворение живет до сих пор,—это «Реквием»:

Не плачьте над трупами павших бойцов,
Погибших с оружьем в руках;
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,—
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!..

Невысокого роста, худощавый, с длинными откинутыми назад волосами, скромный, застенчивый Илиодор Иванович и жизнь вел скромную,—он редко появлялся в компании своих собратий и жил в селе Богородском под Москвой; там у его жены была своя дачка. Рассказывают, когда его «Реквием» появился в печати в каком-то московском журнале,—номер этого журнала был конфискован, а редактор потерпел кару от администрации. Илиодор Иванович не сразу узнал об этом, а когда узнал,—испугался. В это время к нему пришел

какой-то его знакомый и увидал Илиодора Ивановича готовым к от'езду...

— Куда это вы собрались?—спросил знакомый.

— Уезжаю... Надо бежать... Слышали, что произошло из-за моего стихотворения?.. Надо бежать!—решительно заявил Пальмин.

Но куда он собрался бежать—он сам не знал. Знакомый уговорил его остаться.

Умер Пальмин в 1891 году, в пятидесятилетнем возрасте, в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище.

Содержателя ресторана «Венеция» Василия Яковлевича Акимова, а главное его распорядителя Петра Архиповича, или, как все звали, «Архипыча», знала вся газетная литературная Москва, и Архипыч знал многих писателей и относился к ним с большим почтением,—он знал вкусы каждого и всеми силами старался угодить.

Многие из газетчиков кредитовались у Василия Яковлевича, а потом, при получении гонорара, расплачивались.

Более исправным должникам при расчете Василий Яковлевич приказывал поднести бокал «жалованного». Это делалось так: в бокал из-под шампанского вливалось понемногу всех сортов ликеров—получалась довольно пестрая смесь, сверху эта смесь заливалась сырым яйцом.

Посещали «Венецию» и большие писатели, например, Глеб Иванович Успенский; часто заходили артисты московских театров и художники. Ресторан этот привлекал к себе многих своей дешевизной: сытный обед из двух блюд стоил 25 коп., рюмка водки с самой разнообразной закуской—5 коп.

Лично Антон Павлович не любил ресторанной жизни. Очень редко мы—небольшой компанией—посещали Большой Московский трактир, или ресторан, как стали называть тогда большие трактиры.

К такому посещению ресторана мы готовились заранее и совершали его торжественно: сговаривались, собирались, наконец, нанимали коляску и под'езжали к ресторану.

Антон Павлович заказывал самые изысканные блюда—«То, что дома не готовят»...—говорил он.

Летом, в праздничные дни мы, также компанией, состоящей из Чеховых и их знакомых—большею частью учителей Мещанского училища, отправлялись в Нескучный сад—пить чай на вольном воздухе.

Нескучный сад был любимым местом праздничного отдыха замоскворецких жителей. Там, в парке дворцовым служителям дозволялось ставить столики и подавать посетителям самовары.

Мы обыкновенно забирали с собой узелки с чаем, сахаром, сластями, с закуской и пешком отправлялись к Калужской заставе.

Евгения Яковлевна—мать Антона Павловича—пекла к этому случаю пирожки.

Мне вспоминается один случай, имеющий связь с этими прогулками по Нескучному саду.

Года три спустя после смерти Антона Павловича мне пришлось быть в Ялте ранней весной. При жизни Антона Павловича мне не удалось побывать на его ялтинской даче в Аутке, и вот, когда я попал в Ялту, мне захотелось посмотреть дачу, которую Антон Павлович выстроил, когда получил 75 тысяч с издателя «Нивы» Маркса за свои сочинения.

Кстати сказать,—некоторые материалы для постройки этой дачи были куплены в Москве. Однажды я встретил Антона Павловича на Мясницкой улице около магазина Кузнецова,—он шел покупать кафельные изразцы. Я вошел вместе с ним в магазин; Антон Павлович стал выбирать изразцы; я советовал ему взять изразцы голубого цвета—под цвет моря и южного неба, но Антон Павлович сказал:

— Куда нам — старикам! Нам надо коричневые...

На пасхальную неделю в Ялту приехали Марья Павловна и Иван Павлович Чеховы.

В то время в Ялте находились Сергей Александрович Найденов, Василий Васильевич Башкин—талантливый писатель, умерший очень молодым от чахотки [1]), Михаил Петрович Арцыбашев и Виктор Васильевич Муйжель.

Марья Павловна пригласила всех нас к себе на дачу.

Осматривая кабинет и спальню Антона Павловича, в которых все оставалось на прежних местах, как было в то время, когда он выехал в последний раз из Ялты, чтобы лечиться заграницей: на письменном столе—лист промокательной бумаги с отпечатками характерного, мелкого почерка писателя, стопка газет и журналов с нераспечатанными бандеролями, полученных после от'езда его, коробочка с мятными конфектами от Эйнем, любимыми Антоном Павловичем в последнее время,—я обратил внимание на группу фотографических карточек, вставленную в подставку из проволоки, стоящую на особом столике.

Среди фотографий было много знакомых лиц. Был один любопытный снимок любительской фото-

---

[1]) Башкин из Ялты уехал в Финляндию, где и умер 15 ноября 1909 года.

Последние письма его ко мне были очень грустны: «Нужда у меня крайняя... Не знаю, от чего лучше умереть,—от голода или от чахотки»...

Умер на холодной даче близ Райволы в то время, как в соседней комнате металась в родовых муках его жена.

графии со старшего брата Антона Павловича—Александра Павловича, сотрудника «Нового Времени», писавшего под псевдонимом «А. Седой». Александр Павлович—отец известного теперь артиста Художественного театра Михаила Александровича Чехова. Он на снимке стоит, подняв голову кверху, как будто всматривается в пролетающую стаю птиц.

Внизу под снимком рукою Александра Павловича надпись:

«Гм!.. Журавли летят!.. А ведь, наверное, и у них есть свои семейные неприятности?»

Среди карточек я обратил внимание на кабинетный портрет какого-то архиерея—отца Сергия с трогательной надписью Антону Павловичу.

Я спросил Марью Павловну о нем. Она сказала, что это их старый знакомый.

— Да вы его помните,—он у нас еще студентом бывал в Москве.

И я вспомнил случай из далекого прошлого, когда мы совершали прогулки по Нескучному саду.

Однажды летом, в праздничный день, мы довольно большой компанией отправились в Нескучный сад; среди нас был какой-то студент,—фамилии его не упомню. Антон Павлович был в хорошем настроении, шутил, подтрунивал, а шутить он умел как-то по-своему, никогда не улы-

баясь, только тонкие излучины, окружавшие его глаза, выдавали шутку.

Между прочим, он этого молодого студента все время называл «будущим архиереем». Студент не обижался, а слегка конфузился и краснел. Но когда я в шутку, забегая вперед, стал чертить на песке дорожки кресты, говоря, что архиереи должны ходить по крестам, студент, видимо, обиделся на меня.

И вот этот самый студент, которому Антон Павлович пророчил быть архиереем, действительно стал таковым, вел с ним переписку и прислал ему свой портрет...

Все время, пока Чеховы проживали в Москве, я бывал у них на всех квартирах,—сначала в доме Клименкова на Якиманке, потом на Сретенке в Головином переулке, в доме Корнеева на Кудринской-Садовой, где кабинет Антона Павловича помещался в круглой башенной пристройке; там я бывал довольно часто.

Однажды Антон Павлович подарил мне только-что вышедшую в 1887 году книгу своих рассказов «В сумерках», посвященную Дмитрию Васильевичу Григоровичу, и тут же показал мне полученное от него из Ниццы письмо.

Письмо это, в котором старый писатель так своеобразно подходит к критике рассказов Чехова, известно и было опубликовано.

Антон Павлович, видимо, был очень доволен отзывом своего старшего собрата.

В доме Корнеева я часто встречал художника Исаака Ильича Левитана; он был очень дружен с Антоном Павловичем. Сюда изредка приезжал из Нижнего-Новгорода Владимир Галактионович Короленко, но мне с ним не пришлось встретиться у Чеховых. Я о нем услыхал от Антона Павловича вот по какому случаю. В феврале 1887 года я пригласил Антона Павловича к себе на свадьбу. Он приехал с братьями—Иваном Павловичем и Михаилом Павловичем. За свадебным ужином он сказал мне:

— Как у вас тут весело. Жаль, что я не привез сюда с собой одного писателя, который долгое время пробыл в ссылке и мало видал людей.

— Кого же это?—спросил я.

— Короленко; он теперь живет в Нижнем-Новгороде; в Москве ему запрещено жить, но он иногда денька на два приезжает сюда и останавливается у меня.

Мы оба пожалели об этом.

С Владимиром Галактионовичем мне пришлось познакомиться после.

Во время свадебного пира Антон Павлович сообщил мне, что он написал довольно крупную вещь—«Степь», которая вскорости была напечатана, кажется, в «Наблюдателе».

С художником Левитаном, вернее с его картиной, был такой случай: Левитан подарил Михаилу Павловичу эскиз своей картины «Владимирка».

Я как-то пришел в дом Корнеева, Антона Павловича не застал дома; зашел в комнату Михаила Павловича и увидал у него на столе подаренный Левитаном эскиз. Я стал рассматривать его и хвалить.

Михаил Павлович как-то раздраженно сказал:

— Нет, вы посмотрите, что он написал!

И я прочитал надпись, сделанную чернилами на самом эскизе:

«Будущему прокурору Михаилу Павловичу Чехову И. Левитан».

А нужно заметить, что Михаил Павлович был на юридическом факультете, и Левитан своей надписью делал тонкий намек на будущее,—вот, дескать, по какой дорожке ты будешь посылать людей, закованных в кандалы, когда будешь прокурором.

— А эскиз все-таки хорош!—продолжал хвалить я.

— Вам он очень понравился? Так не хотите ли я его подарю вам?

— Да как же так, ведь он вам подарен,—возражал я.

— С такой надписью я его иметь не хочу!..

И я взял этот эскиз, который у меня пропал во время переездов с одной квартиры на другую.

Жили Чеховы и на Спиридоновке во флигеле во дворе, но жили они там недолго,—это было в то время, когда Антон Павлович проживал в Мелихове и только временно, по зимам, приезжал в Москву. Однажды я зашел к нему туда. Он встретил меня упреком:

— Что же это вы не заглянете ко мне? Ведь мы с вами 25 лет знакомы.

Я сказал, что не хотел беспокоить, так как к нему и так много народу ходит.

В это время у Антона Павловича уже определилась его роковая болезнь, а вместе пришла и слава: его пьесы в Художественном театре имели огромный успех.

— Да,—сказал невесело Антон Павлович,—народу ходит много всякого... Поедемте в Художественный театр?—неожиданно предложил он мне.

Мы вышли в переднюю и стали одеваться. Я взял шубу Антона Павловича, чтобы помочь ему одеться. Шуба была на простом барашковом меху и довольно тяжелая.

— Вам бы надо носить шубу на каком-нибудь легком и теплом меху,—заметил я.

— Вы не знаете, какая это благодать в дороге, когда в мятель едешь в санях на станцию—незаменимая вещь!..—сказал Антон Павлович.

— Так-то так, но в городе таскать такую тяжесть на плечах совсем не подходящее дело!..

А про себя я подумал: да еще на больных плечах!

В этот вечер мы с Антоном Павловичем смотрели «Чайку».

Иногда Антон Павлович, чтобы избавиться от назойливых посетителей, приезжая в Москву из Мелихова, не останавливался на своей квартире, а нанимал номер в самом верхнем этаже «Большой Московской гостиницы», думая, что там его не найдут. Однако, это ему не всегда удавалось: как только он приезжал, кто-то об этом узнавал, и вскоре многим было известно, что Антон Павлович в Москве; какими-то путями открывалось и его местопребывание.

Антон Павлович однажды сам рассказывал мне об этом.

Как-то приехал он из Мелихова и, не заглянув домой, прямо направился в «Большую Московскую гостиницу», занял номер, заперся и лег на диван отдохнуть с дороги. Вдруг слышит стук в дверь; думая, что коридорный пришел за документами для прописки, он отворил дверь и на пороге увидал знакомого писателя Т... Особенность этого писателя состояла в том, что он все свои рукописи—повести, рассказы—носил ко всем литературным знаменитостям, просил их прочитать,

дать о них отзыв и рекомендацию в редакцию какого-нибудь журнала.

Так он обращался несколько раз к Л. Н. Толстому и тот давал о вещах Т. очень хорошие рекомендации, в которых говорил, что Т. чуть ли не лучше его пишет. Конечно, такие отзывы Толстого нельзя было считать за что-нибудь серьезное, потому что кто же им поверит? Но для некоторых журналов, которым и 2—3 строки Толстого придавали некоторый вес, отзывы Толстого нужны были, как реклама...

Антон Павлович, увидав у Т. в руках довольно об'емистую рукопись, догадался, в чем дело, и у них произошел такого рода разговор:

— Ну, как поживаете? Что поделываете?—начал Т.

— Да что!..—с грустью в голосе отвечал Антон Павлович.—Вот я сейчас лежал и думал: какой я писатель? Ни одной крупной вещи не могу написать,—все мелочи; так, видно, начинающим писателем и останусь...

— Да, да, это верно,—соглашался Т.—Крупного у вас ничего нет... А я вот роман написал,—заикнулся было он, но Антон Павлович его перебил:

— Я уж вот что решил: брошу писать; да не только писать, а и читать ничего не стану,—подожду, а там видно будет.

— Да, конечно...—нехотя соглашался Т., вертя в руках сверток со своими рукописями и не решаясь предложить их для прочтения Антону Павловичу.

Так ни с чем он и ушел.

* * *

В 1887 году Антон Павлович уехал на дачу в Звенигород. В этом году вышла моя первая книжка «Из «Кобзаря» Т. Шевченка и украинские мотивы», изданная в Киеве. Я послал эту книжечку Антону Павловичу в Звенигород и получил от него письмо от 3 августа 1887 года, которое заканчивалось так:

«Я плохой критик, а потому, простите, не могу заплатить должную дань вашей книжке; как любитель и почитатель всего симпатичного, что изредка мелькает на нашем книжном рынке, я могу только от души пожелать вам полного развития вашего таланта, уверенности, силы и успехов. Не спеша и работая помаленьку, вы добьетесь своего,—в этом я уверен и заранее радуюсь.

Пожав вам руку, пребываю должником

А. Чехов».

По возвращении в Москву из Звенигорода, при первой нашей встрече, Антон Павлович благода-

рил меня за мою книжечку и сожалел, что не мог заплатить долга: в то время только еще подготовлялась к печати его книга «Пестрые рассказы», с обложкой, рисованной Николаем Павловичем Чеховым.

— Впрочем, чтобы не оставаться в долгу, я могу вам подарить свою книжечку, хотя я ее никому не показываю,—сказал Антон Павлович; взял стул, подставил его к книжному шкафу и с самого верха достал тоненькую книжечку—«Сказки Мельпомены», изданную в 1884 году, и подарил ее мне с надписью.

Вскоре вышла книга Антона Павловича «Пестрые рассказы»; он и ее подарил мне с надписью.

Николай Павлович—младший брат Антона Павловича—был художник. Его рисунки и карикатуры появлялись в «Стрекозе», «Будильнике» и других юмористических журналах, но он писал картины и масляными красками. Довольно большую картину его—«Вдова»—я видел у Михаила Михайловича Дюковского, учителя Мещанского училища, с которым он был дружен. Николай Павлович из Москвы перебрался на Юг, там женился и вскоре умер.

За полгода до смерти, Антон Павлович в декабре 1903 года приехал из Ялты в Москву. Мне

очень хотелось повидаться с ним. Перед этим были тревожные сообщения в газетах о положении его здоровья. В то время я болел ревматизмом. И вот я, едва передвигая ноги, направился в дом Коровина на Петровке, где Чеховы нанимали себе квартиру в самом верхнем этаже.

Кое-как я преодолел лестницу, забрался на 4-й или 5-й этаж и Антона Павловича не застал дома. Написал ему письмо, в котором сожалел, что не пришлось повидаться, и на другой день получил от него следующее письмо:

«Дорогой Иван Алексеевич, ваше письмо я получил вчера вечером. Было бы весьма приятно и интересно повидаться с вами, но как это сделать, чтобы не заставлять вас с вашим ревматизмом понапрасну взбираться ко мне на 25-й этаж?

Меня лестница замучила, вам она тоже, вероятно, не нравится.

Меня легче застать в 6—7 часов вечера; я скажу прислуге, чтобы вас встретила и, буде вы не застанете, дала бы вам отдохнуть у меня в кабинете.

В понедельник и во вторник, вероятнее всего, в 6 часов я буду дома.

Крепко жму руку. Будьте здоровы и веселы.

Ваш А. Чехов.

29 декабря 1903».

Вечером на другой день, по получении от Антона Павловича письма, я отправился в дом Коровина; опять с трудом преодолел лестницу—и не даром—Антона Павловича я застал дома; с ним была Ольга Леонардовна и Марья Павловна; вскоре пришел и Иван Павлович.

Антона Павловича я нашел страшно изменившимся,—он очень похудел, но попрежнему был весел и шутлив.

За чаем мы начали вспоминать общих знакомых.

— Вот мы с вами старики и всех стариков помним,—сказал он.

— Каких стариков?—спросила Ольга Леонардовна.

— Да вот, например, Ивана Бунина; это старый писатель; он еще в 1863 году приходил ко мне с тетрадкой стихов... А Серафимович и сейчас еще молодой человек!..—добавил Антон Павлович.

Вообще он любил преувеличивать: в письме ко мне писал, что он живет на 25-м этаже, что Бунин приходил к нему в 1863 году, когда Бунин только в 1870 году родился.

В последний раз Антон Павлович был в Москве проездом заграницу, весной 1904 года.

Он в это время состоял редактором литературного отдела журнала «Русская Мысль».

Первым, кто узнал о приезде в Москву Антона Павловича, был Виктор Александрович Гольцев; он рассказывал, в каком ужасном состоянии он застал Антона Павловича.

— Он все просил меня, чтобы я присылал ему для прочтения рукописи, а я, чтобы не мучить его, сказал ему, что никаких рукописей нет... Плох, очень плох!..—говорил Гольцев.

Однако, в Москве Антон Павлович начал чувствовать себя несколько лучше, и даже один раз появился на «Среде» у Н. Д. Телешева.

Помню, «Среда» была очень большая, были: М. Горький, Скиталец, Л. Н. Андреев, Е. П. Гославский, Виктор Сергеевич Миролюбов—редактор-издатель популярного «Журнала для всех», В. А. Гольцев и много других.

Когда приехал Антон Павлович, все как-будто притихли и стали чего-то стесняться. При Антоне Павловиче перестали курить; Горький и Андреев уходили курить в другую комнату.

Когда стали садится за ужин, я несколько замешкался, и, когда вошел в столовую, все уже сидели за столом, только около Антона Павловича был один незанятый стул. Антон Павлович подозвал меня и указал на стул рядом с ним.

Перед Антоном Павловичем стояла бутылка настоящего мюнхенского пива (Антон Павлович любил заграничное пиво). Мы и раньше не раз за-

ходили с ним в ресторан «Альпийская Роза» на Софийке (ныне Пушкарной улице), где всегда имелось свежее заграничное пиво.

За ужином я налил себе стакан белого вина; Антон Павлович наклонился ко мне и сказал:

— Ревматизм вам расстроил сердце, и вам вина пить нельзя, это я вам говорю как доктор.

Я посмотрел на Антона Павловича, на его осунувшееся лицо, на похудевшую шею, что было очень заметно по стоячему воротнику его крахмальной сорочки: воротник казался чужим, до того он был велик, и сказал:

— Да и вам, Антон Павлович, пить нельзя.

Он улыбнулся своей хорошей улыбкой с излучинками около глаз, поднял бокал с пивом, чокнулся со мной и сказал:

— Выпьемте в последний раз!..

Так оно и случилось, он вскоре уехал за границу, а я—на Кавказ, в Ессентуки и там прочитал в телеграммах, издаваемых по случаю русско-японской войны, следующее сообщение:

«Петербург. В ночь на 2 июля в три часа скончался от паралича сердца на руках жены известный писатель Антон Павлович Чехов, в Германии, в Баденвейлере».

Эта вырезка из телеграмм на цветной зеленоватой бумаге у меня хранится до сих пор.

На похоронах Антона Павловича мне не пришлось быть,—я в это время лечился на Кавказе.

* * *

В конце 1889 года ко мне пришел познакомиться поэт Аполлон Аполлонович Коринфский. Я в то время уже печатался в «Родине», «Русском Сатирическом Листке», в «Новостях Дня» и др. и выпустил в 1887 г. книжечку «Из Кобзаря и украинские мотивы». По этим изданиям он меня уже знал.

Кстати сказать, в то время в «Новостях Дня», издававшихся Липскеровым, А. П. Чехов напечатал свой роман «Драма на охоте».

Коринфский рассказал мне, как он попал в Москву. Он—волжанин, уроженец Симбирской губернии, где у его отца было небольшое именьице. Коринфский обучался в Симбирской гимназии, где, между прочим, вместе с ним учился Владимир Ильич Ленин.

После смерти отца Коринфскому досталось по наследству это именьице; он бросил гимназию и стал заниматься литературой. Еще будучи гимназистом, он писал корреспонденции в поволжских изданиях. Вскоре он женился, но неудачно: жена подбила его сделаться антрепренером; он собрал труппу и гастролировал с нею где-то на Юге. Это предприятие совершенно его разорило, он продал

имение, которое пошло за долги, и остался в одном худом пальтишке. Таким он и появился ко мне, приехав прямо из деревни Низовки, Тверской губернии, от крестьянина-поэта Спиридона Дмитриевича Дрожжина, у которого он прогостил несколько дней.

В Москве Коринфский устроился в плохоньких меблированных комнатах Пфейфера в Брюсовском переулке и начал сотрудничать в московских изданиях. Он много печатал своих стихов в журнале «Гусляр», издававшемся редактором «Московского Листка» Н. И. Пастуховым, и в журнале «Россия», издававшемся типографом Иосифом Ивановичем Пашковым.

Одновременно в Москве стал издаваться журнал «Царь-Колокол». Издательство это было затеяно известною торговою фирмою «Мюр и Мерилиз» на широкую ногу. Выход первого номера был обставлен так: в пассаж Солодовникова был приглашен огромный оркестр музыки, и в это время публике раздавалась реклама о журнале. Кажется, Коринфский печатался и в этом журнале...

Первое время Коринфский в Москве очень нуждался. Зимой его комната совершенно не отапливалась содержателем гостиницы, потому что Коринфский не платил за нее несколько месяцев.

Пробившись года два в Москве, Коринфский уехал в Петербург, где и живет до сих пор.

Литературные связи у него были огромные, он буквально знал всех пишущих людей. У него был интересный альбом, в который вписали свои произведения многие известные писатели; в нем были стихи Фета, Полонского, Случевского и многих других.

Особенно Коринфский был дружен с Константином Михайловичем Фофановым, с которым и мне пришлось познакомиться, когда он приезжал в Москву на Пушкинские торжества в 1899 году.

Помню, Фофанов остановился в каких-то дешевых номерах «для приезжающих» на Дьяковке близ вокзалов.

Я пришел к нему утром. Он только-что встал с постели; на столе стояла недопитая бутылка водки и валялись какие-то остатки закуски.

После первых слов знакомства, Фофанов предложил мне выпить рюмку водки; я отказался, об'яснив, что по утрам, до обеда, я не пью.

— Ну, нам, приезжим людям, разбираться в этом не приходится,—сказал Фофанов и налил себе рюмку.

На прощанье я попросил его написать мне что-нибудь в альбом. И вот что он мне написал:

Хоть календарь неверен Брюсов,
Но все-таки пишу в альбом,—
А вам желаю, Белоусов,
Конечно, оправдаться в том.

На одном из торжественных Пушкинских заседаний в «Обществе любителей российской словесности» Фофанов читал свои стихи. Он был в каком-то экзальтированном, возбужденном состоянии, движения его были нервны, голова, с откинутыми назад белокуро-рыжеватыми волосами, приподнята, и он очень был похож на портрет, который написал с него Илья Ефимович Репин.

Вскоре после окончания Пушкинских торжеств Фофанов уехал в Петербург и оттуда выслал мне книжку своих стихов «Тени и тайны» с надписью:

Мысль—могучая орлица,—
Жаль, что сделана ей клетка.
Жизнь—всесильная царица,—
Жаль, что смерть ее соседка!

Больше Фофанова мне не пришлось видеть. Он умер 17 мая 1911 года.

В Москве Коринфский близко сошелся с поэтом Львом Михайловичем Медведевым.

Медведев жил только литературным трудом,— он писал стихи, рассказы; много писал в детских журналах, особенно в «Детском Чтении», издававшемся известным педагогом Дмитрием Ивановичем Тихомировым. Писал он и в юмористических журналах.

Медведев постоянно носил шелковую шапочку, так как на голове его не было ни одного волоса. Он мне рассказывал, как это случилось.

Оказывается, Медведев страшно боялся черных тараканов, и когда переезжал на квартиру, то тщательно осматривал ее, нет ли где черных тараканов. А так как он знал, что черные тараканы днем прячутся и только выползают ночью, он ложился спать на столе, поставленном посредине комнаты. Но однажды случилось так, что тараканы вползли на потолок над его постелью и несколько черных тараканов упало на нее; с Медведевым случился нервный припадок, после которого у него выпали все волосы...

Медведев постоянно нуждался и постоянно выпрашивал у редакторов и издателей авансы; при этом он всегда выдумывал какие-нибудь основательные причины, на удовлетворение которых ему необходимы были деньги: то, скажет, умерла жена, то умер сын; и это повторялось по нескольку раз.

В редакциях ему говорили:

— Да сколько же у вас жен? Ведь вы месяц тому назад получили аванс на похороны жены...

При встречах с ним издатели начали прятаться от него из боязни, что он опять будет просить аванс на чьи-нибудь похороны.

Медведев слушал лекции на филологическом и юридическом факультетах Московского универси-

тета, но в 1887 году был исключен из университета и выслан из Москвы на Кавказ на два года. Окончить университет ему не удалось.

Он владел польским языком и был женат на польке, служившей в Большом театре хористкой. В 1895 году он издал отдельной книжечкой переводы «Крымских сонетов» А. Мицкевича. Кроме того, журналом «Детское Чтение» были изданы два сборника его стихов для детей: «В семье» и «Мирные песни». Детские книги его появлялись и в других издательствах.

Медведев был искренно предан литературе и по характеру был мягкий и добрый человек.

Умер он 39 лет в 1904 году и похоронен на Ваганьковском кладбище, недалеко от могилы А. И. Левитова.

* *
*

Через Медведева я познакомился с одним любопытным человеком, немного странным на вид, похожим не то на калмыка, не то на какого-нибудь другого инородца, и имя у этого человека было странное—Иосаф Арианович Любич-Кошуров.

Появился он в Москве из Курской губернии, где сотрудничал в местных газетах; в Москве же он пристроился к «Будильнику», к «Развлечению» и писал рассказы в детских журналах.

Местопребывание Любич имел большею частью где-нибудь около Москвы, в дачных местностях; жил он там и по зимам, но иногда перебирался в Москву и поселялся на какой-нибудь окраине города. Не знаю за что,—за беспаспортность или по каким-нибудь другим причинам,—полиция постояно преследовала Любича, и у него с ней были постоянные столкновения.

Помню, как-то зимой один мой знакомый художник Петр Евстафьевич Литвиненко затащил меня к Любичу.

Он в то время нашел себе приют в каком-то полуразрушенном флигельке в глухой местности за Бутырской заставой. Помещение состояло из одной комнаты и довольно большой передней, вроде сеней. Обстановки в комнате почти никакой не было, кроме стола и нескольких обрубков-поленьев, заменяющих стулья.

Когда мы вошли, в передней, прямо на полу, лежала куча одежды, так как на стенах никаких вешалок не было.

В комнате толпился народ, повидимому—типографские рабочие, старые безработные артисты и еще какие-то люди неизвестных профессий. Сидела какая-то женщина с ребенком, повидимому—жена кого-нибудь из присутствовавших.

Над железной печкой, на веревке были развешаны для просушки заячьи шкурки. Около печки

лежали две довольно больших собаки; с этими собаками Любич охотился на зайцев, которые составляли главный предмет его питания. Впрочем, иногда за недостатком зайцев Любич стрелял голубей, соек и питался ими. Топливо он добывал из соседних палисадников, срубая по ночам деревья.

В тот момент, когда мы входили, какой-то пожилой суб'ект, с давно небритой актерской физиономией, что-то пел из старинной оперы «Фенелла»; он стоял на деревянном обрубке и размахивал руками; в самом трагическом месте он не выдержал и свалился с обрубка, едва не придавив женщину с ребенком.

Поднялся невероятный шум, кричали: «Уберите ребенка!»

К нам подошел Любич, ни с кем не познакомив, подвел к столу и налил два стакана водки из четвертной бутыли. Закуски на столе никакой не было. К нам подошел еще какой-то человек. Любич отрекомендовал его нам:

— Доктор Алексей Николаевич Ачкасов.

— А чем же вы закусываете?—спросил Литвиненко.

Любич вытащил из одного кармана кусок колбасы, а из другого хлеб и пояснил:

— Закуску нельзя на столе держать—все собаки сожрут. Пробовали сахаром закусывать, и сахар хватают.

Собаки, увидав, что люди подошли к столу, поднялись с мест и стали вертеться у стола.

Любич начал расхваливать собак:

— Вы посмотрите, как они разбираются в людях: вот вы вошли, они и с места не стронулись, а поглядите, что сейчас будет,—и он крикнул: «Полиция!»

Собаки сорвались с места и с оглушительным лаем бросились к дверям, начали царапать и грызть затворенную дверь. Любич насилу мог их унять, для этого он должен был пожертвовать несколько кусков колбасы.

Компания не расходилась до тех пор, пока не была выпита вся водка.

Как детский писатель Любич приобрел некоторую известность, его рассказы охотно принимались детскими журналами, а издатели детской литературы выпускали их отдельными книжками с иллюстрациями. Из наиболее известных его книжек можно назвать: «В степях и дебрях Манчжурии», «Зеленые святки», «Волшебная книга», «Ян Мазепа», «Ничипор Бородай», «Голубые колокольчики» и др. Некоторые книги выдержали не одно издание. А его большая историческая повесть «500 лет в неволе» представляет солидный труд, в котором Любич в истории одного крестьянского рода описывает, как когда-то вольный русский кре-

стьянин превратился сначала в холопа, а потом был закрепощен.

В последнее время Любич не появляется в литературе и живет где-то под Москвой, состоя на советской службе.

* * *

Познакомил меня А. А. Коринфский еще с одним писателем, который в то время занимал первенствующее место, по крайней мере, в детской литературе,—с Александром Васильевичем Кругловым.

Круглов со своей женой—Анной Никитичной Доганович, тоже детской писательницей—постоянно проживал в каких-нибудь меблированных комнатах или в гостиницах. В то время, когда я познакомился с Кругловым, он занимал номер на самом верхнем этаже «Лоскутной гостиницы» на Тверской улице. Гостиница эта вообще считалась литературной, в ней постоянно останавливался Петр Дмитриевич Боборыкин, иногда Л. Н. Андреев и другие писатели.

А. В. Круглов был человек с большими странностями: постоянно боялся чем-нибудь заболеть, заразиться или простудиться. Дома он сидел с закутанными пледом ногами, а если кто-нибудь приходил к нему, он не сразу подпускал к себе, а

просил сначала посидеть в отдалении от него, чтобы обогрелся, хотя этот пришедший раздевался в швейцарской внизу и поднимался к нему по лестницам в 4-й этаж.

Как была велика мнительность Круглова, доказывает следующий случай, рассказанный мне им самим. Зашел он как-то в парикмахерскую побриться и увидал, что парикмахер бреет какого-то господина, у которого на щеке прыщик. Круглов подумал: а что если этот прыщик злокачественный? и что если мой парикмахер, который будет меня брить, передо мной брил вот такого же человека с прыщиком на щеке? ведь он может заразить меня.

— И что же вы думаете, когда я пришел домой, у меня на щеке появился прыщик. Я испугался, к доктору пошел...—признавался Круглов.

Благодаря мнительности, он как бы посадил себя в футляр. Даже за обедом или ужином он боялся с'есть лишний кусок и всегда спрашивал у А. Н. Доганович:

— А что, не вредно мне будет, если я с'ем еще кусочек?..

Детские рассказы Круглова действительно были одни из лучших, так как в то время детской литературой занимались большей частью дамы-писательницы и наполняли журналы чересчур сентиментальными и фантастическими рассказами.

Круглов же в своих произведениях изображал настоящую, реальную жизнь, конечно с некоторой моралью, как полагалось по тому времени.

Под конец жизни Круглов издавал журнал «Дневник Писателя» и «Светоч», довольно правого направления. Из Москвы Круглов перебрался на жительство в Троице-Сергиевский посад, где и умер 9 октября 1915 года в преклонных годах.

В общем А. В. Круглов и А. Н. Доганович были добрыми, отзывчивыми людьми...

* * *

Летом 1890 года я жил на даче в селе Богородском за Сокольниками. Ко мне приехал погостить С. Д. Дрожжин.

Как-то раз, гуляя с ним по лесу, мы услыхали, кто-то в глубине леса декламирует стихи.

— Это Мюр!—узнал сразу Дрожжин.

Мы пошли на голос и увидали небольшого роста, плотного, похожего на Фета, человека, стоящего на лесной полянке и громко читающего стихи. Мы познакомились.

— Я тоже живу здесь на даче; часто прихожу вот сюда, импровизирую,—сказал Мюр.

Отправились ко мне на дачу. Мюр все время говорил без конца, развивал какую-то теорию о переселении и перевоплощении человеческих душ,

о каком-то новом вероучении... Дрожжин был с ним знаком давно, по «Пушкинскому Кружку», основанному в Петербурге еще в 70-х годах. Тогда Виктор Карлович Мюр состоял секретарем журнала «Всемирная Иллюстрация», издававшегося Германом Гоппе. Почти в каждом номере этого журнала появлялись стихи Мюра за подписью «В. Ракитин».

Мюр был странным человеком, он проявлял самые разнообразные способности: то торговал мясом, то был комиссионером по продаже и покупке разных вещей, был арендатором квартиры, которую сдавал по комнатам, писал стихи, пытался издавать ежедневный «толстый» журнал—для этого он решил выпускать каждый день по нескольку страниц переведенного романа Евгения Сю «Вечный жид»; считал себя апостолом и участвовал на разных религиозных собраниях.

В последнее время Мюр жил на Большой Семеновской улице, у Семеновской заставы, недалеко от меня. За несколько месяцев до смерти, собираясь выехать из Москвы, он пришел ко мне и просил взять на хранение сундук с его рукописями. Я согласился взять сундук, но Мюр почему-то не привез его ко мне и сам не явился.

В сундуке, как он мне говорил, было несколько тысяч стихотворений, в рукописях, из которых большинство не было напечатано.

В начале весны 1921 года я случайно узнал о его смерти. Он жил одиноким, так и умер в одиночестве приблизительно в конце 1920 года.

Куда девался сундук с его рукописями—никому неизвестно.

Я заходил на квартиру, где он проживал, и там мне сказали, что после его смерти приехали каких-то два молодых человека, назвались родственниками Мюра, забрали кое-какое имущество, а рукописи выбросили из сундука,—их квартиранты сожгли в печке. Жаль, что творческие труды человека с недюжинным дарованием за целые десятки лет пропали даром. А стихи его отличались большим изяществом, хотя в большинстве они напоминали поэзию Фета.

Довольно много Мюр писал стихов для детей, и помещал их в детских журналах, но при жизни не издал ни одного сборника.

Часть стихов была написана Мюром и в революционное время:

Поэт-эстет, поклонник чистого искусства, почувствовав веяние свободы, проявил в своих стихах уже другие мотивы:

Мое былое—тьма, невзгоды:
Надежды сердца—впереди,—
Под ярким пламенем свободы.
За неисчислимые годы

Зажег светильник я в груди.
Среде, сознанием убогой,
Несу я мысли вечный свет,—
Иду нехоженной дорогой:—
Работы пламенной и строгой
На много, много хватит лет!..

Или другое:

Мрачнее ночь и гуще пред зарей,
Но ясный день грядет на смену ночи;
Откроет он слепорожденным очи
И озарит свободой край родной!..
Еще во тьме добычу ловят совы,
Томится все под гнетом давним зла,
Но жизни той, что к смерти нас вела,
Колеблются подгнившие основы!..

У меня после смерти Мюра осталась рукописная тетрадка с 13 его стихотворениями, переданными мне им в 1916 году,—из нее я и привожу эти два стихотворения.

Между прочим Мюр и Дрожжин описаны в памфлетическом романе «Вавилонская башня», написанном совместно М. Н. Альбовым и К. С. Баранцевичем.

В романе изображены нравы петербургского литературного мира 70-х годов, а главным образом «Пушкинского Кружка» и его членов. Лица списаны с натуры, но выведены в карикатурном виде.

Дрожжин там фигурирует под фамилией поэта Горшкова, а Мюр—как поэт с древесной фамилией,—это намек на его псевдоним «В. Ракитин».

* * *

В конце 80-х годов мне случайно пришлось познакомиться с забытым теперь поэтом Михаилом Николаевичем Соймоновым.

Как-то прибегает ко мне В. А. Гиляровский и говорит:

— Можешь ты дать три рубля?

— Зачем?—спрашиваю я.

— А видишь ли,—сейчас в Москве, проездом из Петербурга, живет поэт Соймонов; он едет на родину—в Казань, в дороге издержался, заболел и ему не на что выехать из Москвы; надо помочь. Хочешь, поедем к нему?—предложил Гиляровский.

И мы поехали.

Соймонов остановился в дешевых меблированных комнатах на Тверской, кажется, у Фальц-Фейна.

Когда мы пришли к нему, он лежал в постели; при нас он приподнялся и сел на кровать.

Это был человек средних лет, красивой наружности. Посидели мы недолго, Соймонову, повидимому, было трудно разговаривать.

Вскоре он уехал из Москвы в Казань, где и умер 12 сентября 1888 года.

Похоронен он на кладбище Семиозерной пустыни в 17 верстах от города.

Посмертное издание его стихотворений вышло в 1891 году под названием «Недопетые песни».

Стихи Соймонова теперь мало кто знает, но одно стихотворение его живет до сих пор и перешло в песню, это—

Как полосыньку я жала,
Золоты снопы вязала—
Молодая!
Утомилась, разомлела,—
То-то наше бабье дело,—
Доля злая!..

* * *

Начиная с 1885 года, я стал посылать свои стихи в небольшие журналы и газеты, издававшиеся в Москве. Так, я начал печататься в «Новостях Дня», издававшихся Липскеровым; «Вестнике»—небольшой газетке с театральными афишами и либретто (издавал эту газетку Ф. А. Гиляров—двоюродный брат известного издателя «Современных Известий» Н. П. Гилярова-Платонова); в «Голосе Москвы»; в «Московской Иллюстрированной

Газете» (не знаю, кто был ее издатель, но он, видимо, хотел сделать из нее литературную газету и пригласил сотрудничать Фета, который жил в то время в своем доме на Плющихе; одно или два стихотворения Фета и были помещены в этой газете, издававшейся на хорошей бумаге и выходившей иногда с красочными рисунками); в «Русском Листке», в «Курьере», издававшемся фабрикантом фруктовых вод и русского шампанского Николаем Петровичем Ланиным (в этой газете одно время редактором был Виктор Александрович Гольцев).

Сотрудничал я и в еженедельных журналах: «Звезде», «Развлечении», «Русском Сатирическом Листке», «Русском Деле», издававшемся Сергеем Федоровичем Шараповым; в «Радуге», начатой издаваться редактором-издателем «Современных Известий» Н. П. Гиляровым-Платоновым, а потом перешедшей к Л. Метцлю, имевшему контору об'явлений, и Д. А. Мансфельду — драматургу, известному своими водевилями: «Не зная броду, не суйся в воду», «Разрушение Помпеи» и многими другими.

* * *

Припоминая прошлое, я заметил одну особенность: почти все писатели, с которыми я в то

время знакомился, сотрудничали в детских журналах. Коринфский, Круглов, Дрожжин, Мюр, Любич-Кошуров, Лев Медведев—все они писали для детей стихи или прозу. Это дало мне мысль послать несколько стихотворений в единственный, издававшийся в Москве детский журнал для среднего возраста—«Детский Отдых». Большинство детских журналов в то время издавалось в Петербурге. Там были: «Семейные Вечера», «Игрушечка», «Детское Чтение», «Родник», «Товарищ» и др.

Впоследствии и в Москве появилось несколько детских журналов: «Детский Мир», в котором принимал участие Владимир Максимович Фриче, «Мирок», «Пчелка», издававшиеся И. Д. Сытиным. В этих журналах редакторами были Владимир Алексеевич Попов и Николай Васильевич Тулупов.

В 1899 году одно из моих стихотворений появилось в «Детском Отдыхе», и я начал сотрудничать в этом журнале, познакомился с издательницами его—Е. Сарычевой и Е. Напалковой—очень скромными дамами; бывал у них на «вечерних чаях», которые они устраивали для сотрудников раза два в месяц.

Там я встретил Владимира Евграфовича Ермилова, Николая Петровича Аксакова, Павла Вольногорского-Фрейберга, Николая Петровича Боголюбова, брата известного художника.

В. Е. Ермилов, тогда еще молодой человек, живой, подвижной, был весь предан литературе; он писал популярные статьи по истории литературы, по педагогике, принимал участие в обществах, собраниях литераторов и сам образовал кружок по изучению народной литературы, который собирался у него на квартире. Там я встречался со многими писателями, вышедшими из народа,—с С. Т. Семеновым, И. С. Ивановым-Кассировым и др. Пробовал В. Е. Ермилов быть актером и дебютировал в Малом театре, но эта карьера ему не удалась.

Он издавал журнал «Народное Благо», который его знакомые в шутку называли «Ермишина блажь».

В. Е. Ермилов был очень подвижной человек, он всегда носился по Москве по каким-то литературным делам. Видимо, он не обладал хорошей памятью, или у него было столько дел, что память его не могла их все вместить. Поэтому он, когда сделался редактором-издателем «Народного Блага», завел себе секретаря, какого-то молодого человека, который всюду и везде сопутствовал Ермилову. Часто у этого секретаря Ермилов спрашивал, что

ему нужно делать, куда итти, о чем с кем разговаривать.

В сущности В. Е. Ермилов был безобидный человек, хороший, верный товарищ, готовый всегда помочь своему брату-писателю, но все его поступки отличались какой-то полусерьезностью и многим казались смешными; с этой стороны Василий Михайлович Михеев и вывел его в своем романе, печатавшемся в «Ниве». В. Е. Ермилова это очень огорчило.

В. Е. Ермилов был небольшого роста, слабого сложения. Вечно беспокоившийся о делах, он, несмотря ни на какую погоду, не мог и дня высидеть дома; так бегая по городу, осенью 1921 года, он простудился, заболел и умер.

* *
*

Приблизительно в это же время журнал «Детское Чтение» был переведен из Петербурга в Москву—его купил известный в то время педагог, автор грамматики и букваря—Дмитрий Иванович Тихомиров, который, чтобы привлечь сотрудников и поставить журнал на должную высоту, пригласил в секретари из Петербурга детского писателя и педагога Николая Александровича Соловьева-Несмелова. И действительно, как только Соловьев-Несмелов принялся за дело, в журнале стали по-

являться произведения почти всех лучших писателей того времени; из москвичей: А. П. Чехова, И. А. Бунина, Н. Д. Телешева, К. Д. Бальмонта и старого писателя Евгения Николаевича Опочинина, писавшего исторические повести и рассказы. Этот старый москвич жив и до сих пор; он интересный коллекционер, в его альбомах есть рукописи и рисунки Лермонтова, Достоевского, Островского, Писемского, Майкова, Полонского и многих других.

Впоследствии к сотрудничеству в «Детском Чтении» примкнули: И. С. Шмелев, А. Серафимович, Н. А. Крашенинников, а из петербуржцев: Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. Н. Альбов, К. С. Баранцевич, И. Н. Потапенко, Василий Иванович Немирович-Данченко; из Одессы—Александр Митрофанович Федоров.

С Михаилом Ниловичем Альбовым я познакомился в конце 90-х годов, когда он летом приехал в Москву и поселился в редакции «Детского Чтения», на Тверской улице, в д. Гиршмана.

Сам редактор Д. И. Тихомиров обыкновенно на лето уезжал в свое крымское имение «Красная Горка» в Алуште; в редакции оставался только один секретарь Н. А. Соловьев-Несмелов да служитель—татарин Сакир.

Я часто заходил в редакцию. Придешь бывало часов в 7—8 вечера; Соловьев-Несмелов заканчивает дневные дела,—а на нем в то время, за от'ездом редактора, лежала вся редакционная работа: он составлял и выпускал журнал, сносился с сотрудниками, исполнял должность кассира и читал корректуру.

Бывало придет Николай Александрович в редакцию утром, засядет за стол, так и не сдвинется с него до самого вечера; перед ним образуется целая гора папиросных окурков.

— Вы много очень курите,—скажешь ему.

— А это виноват мой друг Василий Иванович Немирович: читал его рукопись. Он пишет так, что ни один наборщик разобрать не может; мы уж вот вдвоем с Андреем Ивановичем (брат Д. И. Тихомирова) разбирали, ну и накурили. За такой работой разве не накуришь? Я вот хочу сказать Василию Ивановичу, чтобы он мне вместе с рукописью фунт табаку присылал.

В то время В. И. Немирович-Данченко печатал в «Детском Чтении» свою повесть из жизни турок и славян на Балканах. Николай Александрович рассказывал мне об одной сцене из этой повести, где описывалось, как в одном болгарском селе взбесился бык; никто не мог его укротить, только один маленький мальчик, лет 7—8, вскочил ему на спину, схватился за рога и усмирил раз'яренного быка.

— Ну, разве это может быть?—удивлялся и не верил Соловьев-Несмелов фантазии Немировича-Данченко.

Михаила Ниловича Альбова я редко встречал в редакции, он занимал отдельную комнату, сидел там один и писал печатавшуюся тогда в «Детском Чтении» повесть «Снежок и Картошка».

Прихожу однажды в редакцию и зову Николая Александровича ужинать.

— Что же,—говорю,—зовите Михаила Ниловича, пойдем, поужинаем.

— Подождите, друг мой молодой (это была обычная форма обращения у Николая Александровича), я, кажется, уж пообедал, забыл только за делами-то...

— Сакир!—зовет он татарина.

Тот является.

— Что я сегодня обедал или нет?—спрашивает он.

— Купил тебе фунт клубники, молока...

— Что же ты, друг молодой, не сказал мне об этом?

— Я тебе говорил, а ты мне ничего не сказал... Тут был этот, балшой...

— Да, да, был этот художник, приносил рисунки. Чудак этот художник! Заказал я ему иллюстрацию: крестьянские мальчики сидят у костра. Художник изобразил этих мальчиков так, словно

это языческие божки какие сидят... Я ему говорю: «да так человек и сидеть-то не может», а он мне начал вот тут на полу показывать и доказывать, что так можно сидеть... Чудак! целый час он мне доказывал... Ну, теперь клубнику и молоко ты возьми себе, а мы пойдем ужинать.

Но собирался он медленно, и торопить его было нельзя, потому что он сейчас же наставительно скажет: «Надо, друг мой молодой, медленно торопиться».

Несколько раз он подходил к двери комнаты Альбова,—прислушивался, заглядывал в замочную щель, опять возвращался к своему столу и начинал разговор со мной.

Появлялся Сакир и докладывал, что опять пришел из типографии мальчик и дожидается.

Грузная, мешковатая фигура Соловьева-Несмелова как-то неестественно бодро поднимается со стула и скрывается за дверью в переднюю; оттуда слышатся переговоры с посланным из типографии:

— Вот что, друг мой молодой,—шопотом говорит Соловьев-Несмелов,—ты ступай в типографию, скажи, чтобы тебя через часик опять прислали сюда. Вот тебе гривенничек... Слышишь, так и скажи: через часик, мол, велели притти.

Мальчик уходит.

Николай Александрович решается постучать к Альбову; ведет с ним какие-то разговоры через полуотворенную дверь и, наконец, решается итти ужинать.

Одевшись, он подходит к письменному столу, осматривает пепельницу с целой горой окурков—не осталось ли непогашенной папиросы, пробует—хорошо ли заперты ящики стола.

— Нельзя, друг мой молодой, оставлять так—не посмотревши,—мне доверили, и я должен за этим наблюдать пуще, чем за своим,—а от папиросы может и пожар случиться.

Дорогой я спрашивал Николая Александровича—зачем приходил мальчик из типографии, и он мне рассказывал, в чем дело.

Оказывается, что приближается срок выхода очередного номера «Детского Чтения» и в нем продолжение рассказа Альбова; Альбов же никак не может закончить работу и сдать ее в типографию.

Я и раньше слыхал, что Альбов совершенно не был способен к срочной работе,—она ему всегда давалась с большим трудом.

— Михаил Нилыч человек нервный, у него есть свои особенности,—он не может писать наспех. Он, когда принимается за работу, запрется в своей комнате и начинает прибирать свой письменный стол,—все на нем поставит по порядку, да не один раз переставит предметы с одного места на другое,

и, когда увидит, что все лежит на своем месте, тогда уж возьмется за перо... Ну, теперь он кончил,—я сейчас с ним говорил об этом... Теперь все образуется...—успокаивал себя Николай Александрович.

Мы приходили в знакомый ресторанчик, усаживались,—являлся распорядитель.

— Чем прикажете угостить?

— Да я, Архипыч, еще не обедал,—устало говорит Николай Александрович.

— Обед великолепный, скушайте,—предлагает Архипыч.

— Да что обед? Водочки бы выпить да закусить рыбкой какой-нибудь,—я, ведь, волжанин,—рыбку-то люблю.

— Селедочку хорошо на закуску?—предлагает Архипыч.

— Нет, друг мой молодой, селедочку я перестал есть с тех пор, как услыхал, что Григорий-то Александрович Мачтет умер от этого,—селедкой отравился...

— Так какой же водочки прикажете?—спрашивает Архипыч.

— Да хорошо бы выпить той, какую Петр Великий любил.

Архипыч в недоумении.

— Эх, друг мой молодой,—этого не знаешь,—анисовой!..

— Такой нет-с; есть клюквенная, полынная, рябиновая, свежая листовка...—перечисляет Архипыч.

— Ну, вот листовочки черно-смородиновой, да балычка,—посочнее, Архипыч.

Через час является Альбов; его высокая, худощавая фигура с близорукими глазами в очках усаживается за стол; он некоторое время сидит молча, отдыхает и устало смотрит сквозь очки.

Николай Александрович не сразу спрашивает его—сдал ли он рукопись в типографию, а начинает так:

— Советую тебе, друг мой Нилыч, спросить маринованных раков,—здесь их по-особенному готовят. Я вот сколько лет прожил в Петербурге; да что в Петербурге,—на Волге живал, а таких раков не пробовал. Как приедет Виктор Петрович Острогорский,—угощу я его этими раками.

Альбов молчаливо соглашается и заказывает маринованных раков.

— А мальчик-то из типографии был,—взял рукопись-то?—наконец решается спросить он.

— Взял!—односложно отвечает Альбов.

Николай Александрович успокаивается, делается веселее, и у нас начинается беседа о литературе, о литераторах,—текут воспоминания...

Особенно отличался Николай Александрович насчет воспоминаний: он описывал встречи со многими писателями, с которыми ему, за его долгую

литературную жизнь, приходилось встречаться. Он вспоминал Некрасова, Достоевского, Григоровича, Тургенева, Лескова, Плещеева, Татьяну Петровну Пассек—двоюродную сестру А. И. Герцена, от которой он получил в подарок лупу, принадлежавшую Герцену. Т. П. Пасек издавала журнал «Игрушечку», в котором Николай Александрович принимал ближайшее участие.

Знал Николай Александрович и всех новейших писателей—петербургских и московских.

— Одного я не видал никогда—это Л. Н. Толстого,—да и добиваться этого не хочу: мне хочется унести с собой в могилу облик этого великого человека таким, каким я его сам создал,—говорил Николай Александрович.

До своего сотрудничества в «Детском Чтении», он жил большею частью в Петербурге, в Москве же бывал изредка, наездом, навещая своего друга И. З. Сурикова, после смерти которого он прожил некоторое время в Москве, работая по заказу К. Т. Солдатенкова над биографией И. З. Сурикова для 4-го посмертного издания полного собрания его стихов, вышедшего в 1884 году в издании Солдатенкова.

Как-то по зиме приехал из Петербурга Виктор Петрович Острогорский. Николай Александрович вспомнил о маринованных раках и захотел угостить ими петербургского гостя,—пригласил в компанию

и меня; мы отправились в ресторан. Когда Николай Александрович переселился на жительство в Москву, он полюбил её и любил приезжим людям показать в Москве что-нибудь особенное.

В. П. Острогорский был очень доволен московским хлебосольством в солидно поставленных московских ресторанах. В компании он оживлялся, был весел и читал свое единственное стихотворение; я попросил его написать это стихотворение в альбом—и он это сделал.

Вот это стихотворение:

В жизни важное только важное,—
С ним и след вперед итти.
По тому пути отважные
Не погибнут на пути!.
А когда дела неважные
Человека обойдут,—
То и самые отважные
Человека не спасут!
Весь он с болью несказанною
Погрузится в тину бед...
Очень жалко окаянного,
Что погиб во цвете лет...

Вздумал Николай Александрович показать Острогорскому Воробьевы горы, где в то время был известный ресторан Крынкина. Наняли извозчика, поехали. Когда стали переезжать Москву-реку по льду у Ново-Девичьего монастыря, Острогорский спросил, где они едут? И когда узнал, что едут они по льду Москвы-реки, так испугался, что повернул извозчика обратно из боязни утонуть в реке. Так они и не попали на Воробьевы горы... А Николай Александрович любил эти горы. Однажды мы с ним попали туда 26 сентября 1894 года—в день первой годовщины смерти Алексея Николаевича Плещеева. В этот день было назначено освящение памятника на могиле поэта.

Я пришел к Николаю Александровичу с утра, но он, по своей привычке «медленно торопиться», так долго собирался, что, когда мы приехали в Ново-Девичий монастырь, памятник А. Н. Плещеву был уже открыт, и на могиле никого не было Мы постояли, посмотрели на мраморный бюст поэта, заказанный им самим, когда он жил в Париже после неожиданно полученного им огромного наследства.

Какой-то русский подданный, очень богатый человек, умер за границей и не оставил никаких наследников; стали разыскивать их и каким-то образом открыли, что А. Н. Плещеев приходится умершему богачу дальним родственником,—ему и присудили это наследство.

Когда бедствующий поэт сделался миллионером, то квартира его переполнилась разного рода просителями,—они не только наполнили квартиру, но

толпами стояли на лестнице и у крыльца. Плещееву стало невмоготу оставаться в Петербурге, и он уехал за границу, где и умер 26 сентября 1893 года. Тело его было привезено в Москву и похоронено в Ново-Девичьем монастыре, рядом с могилой его первой жены.

После его смерти нашлись настоящие наследники, которые начали процесс, и оказалось, что Плещеев владел наследством незаконно, и оно было передано законным наследникам. Но при жизни Плещеев успел сделать кое-какие пожертвования в «Литературный фонд» и в «Кассу взаимопомощи»; так они там и остались.

С могилы Плещеева мы с Николаем Александровичем отправились на Воробьевы горы; сели на терраске ресторана и до самого темна любовались чудесным видом на город и на Москву-реку, окаймленную рощами и садами с листвой, подернутой осенней позолотой...

Вспоминается мне время, проведенное с Николаем Александровичем в Крыму, в имении Д. И. Тихомирова «Красная Горка».

Д. И. Тихомиров уезжал на весенние каникулы к себе в имение и как-то пригласил меня приехать погостить у него пасхальную неделю.

— Да вы уговорите и Николая Александровича поехать с вами отдохнуть в Крыму,—говорил мне Дмитрий Иванович.

Я уговорил не только Николая Александровича, но и Н. Д. Телешева. И вот мы втроем, в самом конце Страстной недели выехали в Крым. Я ехал туда в первый раз. Море, горы, южная природа произвели на меня огромное впечатление и остались в памяти на всю жизнь.

М. Н. Альбов уехал из Москвы в Екатеринослав и жил там у своего приятеля Святловского—редактора газеты «Приднепровский Край». Оттуда Альбов уехал в Петербург, где и умер.

Н. А. Соловьев-Несмелов умер от разрыва сердца на своем посту скромного литературного труженика в декабре 1901 года. Похоронен он на Ваганьковском кладбище в правой стороне от входа. Сначала на его могиле стоял деревянный крест с надписью: «Писатель Николай Александрович Соловьев-Несмелов. Родился 30 апреля 1847 г. Скончался 16 декабря 1901 г.». Впоследствии крест подгнил, свалился, и теперь могилу трудно отыскать.

Мне пришлось видеть портрет Николая Александровича, подаренный им одному из друзей, с надписью, в которой он говорит о смерти и, между прочим, просит не ставить на его могиле никаких памятников, а положить простой серый камень без надписи. Так оно и случилось, только даже и простого камня нет, который отмечал бы его могилу...

При воспоминании о Н. А. Соловьеве-Несмелове, мне припомнилось, как я благодаря ему познакомился с московским цензором Сергеем Ивановичем Соколовым.

В 1899 году исполнялось 100-летие со дня рождения знаменитого английского поэта Томаса Гуда—автора известной «Песни о рубашке». Редакция «Детского Чтения» решила это событие отметить в журнале статьей о поэте; статью эту предложили написать мне.

Я написал, и в статье, между прочим, для характеристики творчества Гуда, привел целиком его «Песню о рубашке» в переводе Михаила Илларионовича Михайлова, умершего на каторге в 1865 г.

Цензор зачеркнул всю песню, и, кроме того, красные чернила его прошлись по всей статье.

Николай Александрович, сообщив мне об этом, посоветовал самому сходить к цензору, об'ясниться с ним и, насколько возможно, отстоять статью.

Я возражал, что никогда никакого цензора и в глаза не видал и, как разговаривать с ним, не знаю.

— А это вам, друг молодой, будет полезно: по крайней мере вы узнаете, как нам трудно возиться с цензурой,—сказал Николай Александрович, и дал мне несколько советов и наставлений, которые мне показались странными:

— Когда вы придете к цензору, к нему на квартиру, сначала ничего не говорите о статье, а постарайтесь завести с ним разговор о сапогах и о скрипках. Он вам покажет сапоги и скрипки, которые он сам делает. Так вы похвалите их, а потом уже говорите и о статье.

Получив адрес цензора,—где-то около Девичьего Поля,—я отправился к нему. Отыскал небольшой одноэтажный домик, и только-что хотел позвонить в парадное крыльцо, как дверь отворилась, и на пороге показалась круглая, низенькая фигура в дворянской, с красным околышем, фуражке и с узелком в ситцевом платке под мышкой.

— Кого вам нужно?—спросила фигура.

— Цензора Сергея Ивановича Соколова,—ответил я.

— Это я Сергей Иванович—вам по какому делу?

Что было делать,—пришлось прямо говорить о статье, а о сапогах и скрипках заводить разговор нечего было и думать.

— Мне некогда с вами разговаривать,—я в баню собрался... А статью вашу помню,—сказал цензор.

— Вы вычеркнули из статьи «Песню о рубашке», а ведь этим-то стихотворением и прославился Томас Гуд...—начал было я об'яснение.

Но цензор перебил меня:

— Да в чьем переводе вы взяли это стихотворение-то?—в переводе каторжника Михайлова!.. Не-

хорошо, молодой человек, нехорошо! Вы бы что-нибудь полезное писали,—неожиданно заявил он.

— Что же я могу написать полезное?—спросил я.

— Патриотическое!—отрезал Соколов и хотел было уходить.

— Так как же быть с «Песней о рубашке»?—остановил я его.

— Ну, вот что: можете ее печатать в прозаическом переводе, а не в переводе этого каторжника...—разрешил цензор.

— Позвольте, Сергей Иванович: в одном сборнике петербургского издания эта «Песня» помещена целиком в переводе Михайлова,—продолжал отстаивать я.

— Петербург нам не указ,—мало ли что там делается в Петербурге,—здесь Москва... Можете на меня жаловаться... Ну, я ухожу...

И круглая фигурка в фуражке с красным околышем и узелком под мышкой пошла в одну сторону, а я постоял немного и пошел в другую.

Так в майской книжке «Детского Чтения» за 1899 год и появилась моя статья о Томасе Гуде с пересказом содержания знаменитой «Песни о рубашке».

Еще раз пришлось мне встретиться с этим цензором.

В 1900 году издавалась моя книга—«Песни и думы «Кобзаря» Т. Шевченка» в моем переводе. Рукопись была отдана в цензуру, и красные чернила цензора Соколова уничтожили два стихотворения, а в третьем стихотворении было зачеркнуто одно слово—«в барских»—

В барских каменных палатах
Мать меня родила...

Тогда я уже сам пошел об'ясняться к цензору. Пришел в комитет во время заседания цензоров. Соколов вышел ко мне и спросил:

— В чем дело?

Я об'яснил.

— Вот что,—сказал цензор,—мне сейчас некогда,—у меня доклад... Вы говорите, что два стихотворения зачеркнуты,—покажите, какие?

Я вынул цензурованную рукопись и показал.

Соколов просмотрел.

— Ну, что ж, правильно; этого допустить нельзя.

— Да, ведь, эти стихи давно допущены, и во всех изданиях «Кобзаря» напечатаны,—возражал я.

Цензор задумался.

— Ну, вот что: я вам одно стихотворение пропущу,—выбирайте, какое?

— Да почему же не оба?—заикнулся было я.

— Уж об этом позвольте мне знать!..—загорячился Соколов.

Пришлось согласиться...

Я вспомнил о зачеркнутом слове и сказал:

— Сергей Иванович, вы зачеркнули в стихотворении «Русалка» одно слово—«в барских», и этим испортили стихотворение.

— Говорить о господах, барах—это значит восстанавливать одно сословие против другого. Надо это пресекать в корне!—заявил он.

— Вам не нравится слово «в барских», так, может быть, его можно заменить словом—«в панских»,—чтобы не испортилось стихотворение-то,—предложил я.

— В панских—можно... Конечно можно!—подтвердил цензор, видимо, желая поскорее отделаться от меня, и мелкими шажками направился в зал заседаний.

Вообще этот цензор не любил слов: «гнет», «угнетение»—он думал, что в российском государстве все обстоит так благополучно, всем живется так хорошо, что ни о каком гнете, насилии и упоминать не следует. Как иллюстрацию к этому я вспоминаю такой случай: Григорий Аветович Джаншиев,—видный сотрудник и пайщик «Русских Ведомостей»—задумал издать литературный сборник в пользу армян, пострадавших в Турции.

Я дал в этот сборник специально написанное для этой цели стихотворение, в котором, между прочим, говорилось:

> Мы наших братьев угнетенных
> Не видим горьких, жгучих слез.

Цензор С. И. Соколов зачеркнул слово—«угнетенных». Джаншиев поехал к нему об'ясняться.

— Вы совсем испортили стихотворение,—говорил он цензору. Но Соколов никак не соглашался восстановить это слово. Тогда Джаншиев нашелся, и предложил слово—«угнетенных» заменить словом «пригнетенных».

И цензор на это согласился.

Так и было напечатано:

> Мы наших братьев пригнетенных...

Все эти случаи характеризуют цензора Соколова: в цензуре он мог применять только полицейские приемы,—не допущать и прекращать.

На самом деле он и был таковым,—он был человек совершенно необразованный, долгое время состоял личным секретарем известного редактора «Московских Ведомостей» М. Н. Каткова, по протекции которого и получил место в московской цензуре.

* * *

В «Детском Чтении» я сотрудничал еще тогда, когда оно издавалось в Петербурге под редакцией Голяховского.

Я не знал этого Голяховского, но слышал, что он не принимал никакого участия в журнале, а состоял в нем ответственным редактором на случай отсидки, когда редактор нес кару за нарушение каких-либо постановлений о печати.

Такие «ответственные» редакторы в то время нанимались очень многими журналами и газетами;—я знаю, такой редактор был и у «Русских Ведомостей».

В «Детском Чтении», впоследствии переименованном в «Юную Россию», я не прекращал сотрудничества до самых последних дней его существования.

После смерти Н. А. Соловьева-Несмелова секретарями журнала были: Александр Александрович Федоров-Давыдов, С. А. Серополко, М. В. Лавров—сын издателя «Русской Мысли» В. М. Лаврова и др., а последним секретарем уже после смерти Д. И. Тихомирова, когда журнал вела его жена Елена Николаевна, был писатель из народа—Петр Александрович Травин.

В первые годы издания журнала в Москве, его редактор Д. И. Тихомиров, чтобы закрепить

связь с сотрудниками, устроил у себя «Субботы». И мы все москвичи-сотрудники—были на этих «Субботах». Обыкновенно собирались к вечеру; накрывался стол для ужина, уставлялся бутылками белого и красного вина из тихомировских погребов «Красная Горка».

Никаких чтений и докладов на «Субботах» не было, а просто за ужином велась беседа на темы о литературной и педагогической жизни Москвы.

Постоянными посетителями «Суббот» были: Н. А. Соловьев-Несмелов, Виктор Александрович Гольцев, Вукол Михайлович Лавров, Николай Дмитриевич Телешев, братья Бунины—Ю. А. и И. А., Иван Иванович Иванов—профессор-словесник, Лев Аркадьевич Хитрово, скончавшийся 21 октября 1926 года, профессор Дмитрий Иванович Эварницкий, педагоги, кое-кто из молодых сотрудников.

На «Субботах» появлялись и приезжие гости: из Петербурга—Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Казимир Станиславович Баранцевич, Михаил Нилович Альбов; из Пензенской губ.—Владимир Николаевич Ладыженский—земский деятель, поэт и беллетрист, сотрудничавший в «Русской Мысли», «Русских Ведомостях» и др., друг Мамина-Сибиряка, почему его в шутку прозвали—«Папин-Пензяк».

Тихомировы, Д. И. и жена его Елена Николаевна, принимавшие близкое участие в редактировании журнала, были очень расчетливые люди. Они и свои «Субботы» устроили не спроста, а извлекали ими пользу: приближая к своей домашней жизни сотрудников, они платили им за их литературные труды «по-домашнему», очень немного. Часто гонорар выплачивался не наличными деньгами, а красным и белым вином «Красная Горка». К слову сказать, тихомировское вино было невысокого качества, но сотрудники поневоле, хоть морщились, но пили его.

Как невелик был гонорар, выплачиваемый Тихомировым сотрудникам, можно судить по такому примеру. У А. П. Чехова стали просить дать что-нибудь для «Детского Чтения», и он дал рассказ «Белолобый», размером более ½ печатного листа.

Рассказ был напечатан, но за гонораром Антон Павлович не появлялся, и из редакции ему гонорара не присылали.

Как-то при встрече с Антоном Павловичем, Тихомиров сунул ему в руку пакет.

— Это вам гонорар за «Белолобого», — сказал он.

Дома Антон Павлович, распечатав пакет, нашел в нем 25 рублей.

Профессор Дмитрий Иванович Эварницкий, украиновед, автор солидного труда—«История Запорожья», изданного в нескольких томах, писал много рассказов и повестей на украинском и русском языках и некоторые из них помещал в «Детском Чтении».

Когда я с ним познакомился, он был уже пожилым человеком, жил одиноким, нанимая небольшую квартирку в Кривом переулке, близ Варварки. Я жил рядом с ним и часто бывал у него; там я встречал В. А. Гиляровского, и молодого художника Николая Ивановича Струнникова, приехавшего из г. Орла, где он учился вместе с Л. Н. Андреевым в гимназии.

Вся обстановка комнаты Эварницкого носила украинский колорит: везде рисунки с украинскими узорами, картины из украинской жизни; на почетном месте на столике—украинская глиняная чашечка с землей с могилы последнего гетмана Украины Сирко. На входной двери Н. И. Струнников написал запорожца с чубом и огромными усами. Когда Эварницкий уезжал из Москвы, он вырезал филенку из двери с этим портретом и увез с собой на Украину.

Эварницкий на тихомировских «Субботах» был незаменимым рассказчиком.

Поселившись на Украине, Эварницкий занялся раскопками старых могил-курганов; его изыскания

в этой области представляют большой исторический интерес. Его пригласили заведывать областным украинским музеем имени Поля в Екатеринославе; он построил около музея домик, где и живет до сих пор.

В 1915 году я посетил его в Екатеринославе,—он постарел, жаловался на слабость зрения, но был все таким же неутомимым работником по музейной части и таким же живым, остроумным рассказчиком.

Между прочим он рассказывал мне, как он показывал музей последнему царю Николаю, когда тот, проезжая через Екатеринослав, вздумал осмотреть музей.

Эварницкий давал об'яснение музейным вещам, и когда царь подошел к витрине с старинными золотыми и серебряными вещами и сказал:

— Все это, наверно, награблено запорожцами?

— Нет,—сказал Эварницкий,—запорожцы это не награбили, а доскóчили!

Когда царь подошел к другой такой же витрине, то уже по-украински спросил:

— И это то же доскóчили?

— Так точно,—ответил Эварницкий,—доскóчили!

Кстати надо сказать, когда И. Е. Репин писал свою картину «Запорожцы пишут письмо султану турецкому», то фигуру писаря он написал с Эварницкого.

* * *

С Д. Н. Маминым-Сибиряком я не был близко знаком, но встречался с ним и в Петербурге и у Тихомировых, когда он приезжал в Москву и останавливался у них.

В то время он пользовался большой известностью, как бытописатель Урала.

В беседах он был малоразговорчив,—больше молчал и потягивал свою неизменную трубку. Но скупой на слова, он иногда давал меткие характеристики и лицам и событиям.

Проживая постоянно в Петербурге, Мамин любил Север, Юг же ему не нравился.

Как-то ему пришлось поехать в Крым; на возвратном пути он заехал в Москву и по обыкновению остановился у Тихомировых, где я с ним и встретился.

— Ну, как вам понравился Крым?—спросил его кто-то в разговоре.

— Ничего там хорошего нет,—ответил Мамин,—ни одной березки не видал я там; а что за трава там растет?—Это не трава, а солдатские усы...

Мамин был женат на актрисе Абрамовой, от которой у него была дочь—Аленушка. Ребенок явился на свет недоразвившимся и болезненным, но на этом больном ребенке Мамин сосредоточил всю свою отцовскую любовь.

Эта Аленушка и заставила отца-писателя создать одну из лучших детских книг — «Аленушкины сказки».

В последние годы жизни Мамина мне не удавалось встречаться с ним. В Москве было известно, что писатель болен и что петербургские друзья его задумали устроить ему юбилей, но юбилей вышел печальным: больной не вставал с постели, а 2 ноября 1912 года его не стало.

Как только в Москве получилось известие о его смерти, я и Д. И. Тихомиров выехали на его похороны.

Как сейчас помню 4 ноября. Серый петербургский день с туманом и изморосью. 9 часов утра. В этот час улицы Петербурга не так многолюдны, но тихая Верейская улица оживлена: у под'езда дома № 3 стоит белый катафалк; толпится народ. Идут в парадное крыльцо, поднимаются по лестнице на самый верхний этаж,—в квартиру писателя. В открытую дверь несется пение. В небольшой столовой стоит гроб, обитый белым глазетом. Около гроба—братья-писатели: Сергей Яковлевич Елпатьевский, А. А. Луговой, А. А. Коринфский, Евтихий Павлович Карпов и др.

Вот зашуршали выносимые венки; вот гроб подняли друзья покойного и на руках понесли до катафалка,—и погребальная процессия направилась к Александро-Невской Лавре.

У ворот Лавры процессию встретили еще многие из товарищей автора «Золота», «Трех концов», «Уральских рассказов» и многих других произведений.

После отпевания гроб понесли на Никольское кладбищс и опустили в склеп, рядом с могилой Ивана Александровича Гончарова.

Толпа, среди которой было много учащейся молодежи, стояла с обнаженными головами. Начались речи. Аполлон Коринфский прочитал стихотворение, начинающееся следующими словами:

С далеких гор угрюмого Урала,
Из глубины сибирских деревень,
Он к нам пришел, как рыцарь без забрала;
Избытком сил вся кровь его играла,
В груди его лежал талант-кремень...

Дальше в стихотворении Д. Н. Мамин-Сибиряк характеризовался как человек и писатель, а заканчивалось стихотворение так:

...В грядущих поколеньях
Ты будешь жить, уральский самоцвет!

Долго не расходился народ с могилы.

Вот вырос могильный холм, вот крест отметил место вечного покоя писателя, а на кресте безграмотная надпись:

«Почетный гражданин г. С.-Петербурга Дмитрий Норкизович Мамин-Сибиряк».

И многие подумали:

Неужели только в этом «почетном гражданстве» и была заслуга писателя, так ярко и правдиво изобразившего в своих произведениях быт уральских рабочих-старателей, добывающих золото богачам - эксплоататорам и гибнущих на этой каторжной работе? или писателя—автора чудеснейших детских рассказов?..

* * *

Тихомировские «Субботы» продолжались довольно долго, но потом они стали реже посещаться писателями. Упадок «Суббот» произошел как раз после смерти Н. А. Соловьева-Несмелова, к которому писатели—и старые, и молодые—относились с какой-то особенной любовью.

Место секретаря в «Юной России» занял молодой писатель А. А. Федоров-Давыдов, впоследствии сам издававший два детских журнала «Светлячек» и «Путеводный огонек», имевших широкое распространение.

А. А. Федоров-Давыдов известен как детский писатель, написавший массу детских книг. Он и сейчас работает над своим любимым делом—заведует изданием журнала «Мурзилка».

* * *

Одновременно с тихомировскими «Субботами» в Москве возник другой, чисто литературный, кружок—«Среда».

В 1899 году Николай Дмитриевич Телешев, вернувшись из заграничной поездки после женитьбы, начал собирать у себя кое-кого из московских писателей. Собрания происходили по средам каждую неделю, почему и кружок начал называться «Средою», а так как писатели собирались исключительно только в квартире Н. Д. Телешева, то эти собрания стали известны как «Телешевские Среды».

Эти «Среды» являлись продолжением того кружка, который гораздо раньше собирался у Н. Д. Телешева, когда он жил в доме своего отца на Валовой улице. Это было в 1885—86 гг. Кружок тогда назывался «Парнас»; участвовавших в нем было очень немного: Сергей Дмитриевич Махалов, теперь известный драматург С. Разумовский, написавший еще в 1906 году пьесу «Юная буря», которая и до сих пор не сходит со сцены; Владимир Семенович Лысак, выпустивший книжечку миниатюр под названием «Подорожник», сам Н. Д. Телешев, его брат—Сергей Дмитриевич, я, да еще кое-кто из молодых музыкантов.

В этом кружке по инициативе Алексея Ивановича Слюзова, незадачливого поэта-самоучки,

приехавшего из Самары и познакомившегося с нашим кружком, возникла мысль издать сборник стихов. Издание это осуществилось в 1886 году; вышел сборник стихотворений «Искреннее слово» с эпиграфом:

> Дружно гребите во имя прекрасного
> Против течения!..

«Против течения» мы, конечно, не гребли, ничего нового, мы, молодые, начинающие писатели, дать не могли, но цель сборника была «об'единить людей, искренно преданных искусству, и дать им возможность развивать свои дарования...», как было сказано в предисловии к сборнику «от авторов». В конце предисловия эти скромные авторы добавляли: «Просим видеть в этой первой, несовершенной попытке лишь благое начинание...».

Я дал в этот сборник несколько своих стихотворений под фамилией «И. Усов».

Н. Д. Телешев поместил 14 стихотворений. С. Д. Махалов-Разумовский—одно под фамилией «Иван Человеков».

Кроме того, в сборнике участвовали: А. Слюзов, А. Кованько, А. Правотороз, Н. П. Коблов, Апол. Крюков и Глеб Надусин (Борис Добрышин). Последние участники сборника не развили своего дарования, не оставили никакого следа в литературе, и имена их забылись.

Интимный кружок «Парнас» просуществовал несколько лет, широкого развития он не получил, но значение его заключается в том, что он явился основоположником «Сред», имевших большое значение в русской литературе за известный период, а для нас, первых участников «Парнаса», вечера, проведенные в дружеском общении, оставили самое светлое воспоминание.

«Среды» развивались постепенно. Вначале был небольшой кружок пищущих из прежних членов «Парнаса», а потом незаметно стали вливаться все новые и новые члены: появился Николай Петрович Ашешев, братья Бунины, Е. П. Гославский, С. С. Голоушев, Н. И. Тимковский, М. Горький, Скиталец, А. Серафимович, Л. Н. Андреев, Б. К. Зайцев, С. А. Найденов, В. В. Вересаев и др.

Стали посещать «Среды» и писатели из других городов: Сергей Яковлевич Елпатьевский из Крыма, В. Г. Короленко—из Нижнего-Новгорода, А. И. Куприн, Н. Г. Гарин-Михайловский, Е. Н. Чириков—из Петербурга, А. М. Федоров и Семен Юшкевич—из Одессы.

На «Средах» начал было бывать Валерий Яковлевич Брюсов, но впоследствии он сделался основателем своего кружка — «Общества свободной эстетики», с иным направлением, и отстал от «Сред».

Бывали на «Средах», но сравнительно редко: А. П. Чехов, Н. Н. Златовратский, В. А. Гольцев, Д. И. Тихомиров, Н. А. Соловьев-Несмелов. На «Средах» читались только-что написанные и не бывшие в печати произведения членов кружка; произведения эти разбирались, обсуждались, критиковались без всякого лицемерия: слабые места отмечались; высказывались мнения о прочитанном откровенно и без стеснения.

Это об'единение сыграло немаловажную роль в деле развития и укрепления того направления в русской литературе, которое господствовало в России в 90-х годах: влияние «Сред» на беллетристов и поэтов того времени было очень заметно.

Выборы в члены кружка происходили с большой осторожностью: прежде чем принять в свою товарищескую среду какого-нибудь писателя, старые члены «Среды» «смотрели» его, знакомились с ним на так называемых выходных «Средах», которые собирались у С. С. Голоушева, занимавшего должность участкового врача при Хамовнической части, где ему давалась казенная квартира. Голоушевские «Среды» ничем не отличались от телешевских, разве вот только тем, что на них появлялись новые лица—«испытуемые».

На такой голоушевской «Среде» я встретился с В. Я. Брюсовым.

При первой встрече мы разговорились:

— А я с вами давно знаком, еще с детства,— сказал Брюсов и рассказал, как он мальчиком ездил гостить к своему деду Александру Яковлевичу Бакулину, который очень любил стихи и напечатанные в разных газетах и мелких журнальчиках вырезал и наклеивал в особую тетрадку.

— Вот в этой тетрадке я и читал ваши стихи,— они мне тогда нравились,—добавил Брюсов.

Я выразил удовольствие, что мои стихи ему нравились,—тем дело и кончилось.

Спустя несколько лет, когда Брюсов был председателем дирекции Литературно-Художественного Кружка, а я был одним из директоров, я как-то в разговоре упомянул о деде В. Я—ча и о том, что он писал стихи. Я в то время знал о деде Брюсова, который был действительно писателем, примыкал к кружку писателей-самоучек и участвовал в сборнике этих писателей, изданном в 1872 году поэтом И. З. Суриковым. Там были помещены две басни: «Осел и Лисица» и «Кошка и Щегол» за подписью А. Бакулина. Бакулин умер в Москве и похоронен на Пятницком кладбище. Да и сам В. Я—ч, когда сотрудничал в журнале «Весы», издававшемся Сергеем Александровичем Поляковым, подписывал свои некоторые статьи псевдонимом «А. Бакулин».

Все эти справки о деде В. Я—ча исторически верны, но что же мне он ответил:

— Ничего подобного не было; никакого своего деда-писателя я не знаю!..

Что этим хотел сказать В. Я—ч? Поразить меня? И я действительно был поражен. Но впоследствии я от нескольких лиц слышал подобные примеры, доказывающие, что В. Я—ч вообще любил поразить человека чем-нибудь неожиданным, а после сам смеялся над своей шуткой и очень был доволен ее удачей. Такие шутки В. Я—ча особенно поражали тех, кто знал его как в высшей степени корректного, серьезного и делового человека, каким и я его знал много лет во время совместной работы в Литературно-Художественном Кружке.

Между прочим надо заметить, что у В. Я—ча Брюсова еще с молодых лет было заметно влечение ко всяким новшествам в литературе; может быть, этим об'ясняется его знакомство с Емельяновым-Кохански м.

В первой половине 90-х годов многие москвичи обращали внимание на молодого, красивого человека, одетого по-кавказски—в черной бурке и барашковой шапке, разгуливавшего по Тверской улице и Тверскому бульвару с хлыстом в руках,—это и был поэт-декадент Александр Николаевич Емельянов-Коханский.

В 1895 году появилась его книга стихов «Обнаженные нервы». Книга для оригинальности была отпечатана на розовой бумаге и с необыкновенным портретом автора,—он изображен Демоном—в плаще и латах и с огромными крыльями. Книга, должно быть, тоже для курьеза, была посвящена «Самому себе и египетской царице Клеопатре». В предисловии издатель А. С. Чернов говорит: «Осмеливаюсь думать, что угодим всем, в особенности «перлам земли», приложив портрет и автограф первого смелого русского декадента».

Автор же в своем предисловии к книге говорит: «За содержание, я думаю, меня никто не будет упрекать, кроме наших лже-либералов, стоящих на страже куриной и петушиной нравственности»...

Конечно, «зеленая» молодежь и экспансивные девицы обратили внимание на эту новинку и ходили покупать книгу к самому автору, чтобы лицезреть его.

В общем же стихи Емельянова-Коханского не представляли из себя ничего особенного. Это были очень гладкие стихи в стиле романсов, пародий или написанные ради курьеза, например:

Движеньем мизинца,
Наградою рынца
И вкусом гостинца,
Испугом родимца

Пойдем насладимся.
Напрасно гордимся
Рукой подхалимца,
Ногой проходимца...
Мы все веселимся
Несчастием принца,
От неги горя...

В то время, когда в литературе царило строго-реалистическое направление, декадентство же только-что начинало приходить к нам с Запада, на книгу стихов Емельянова-Коханского было обращено внимание как на что-то новое.

Автор книги «Обнаженные нервы» задумал выпустить и вторую книгу своих стихов, насколько помнится мне, под названием: «Песни мертвеца», предполагая приложить к книге свой новый портрет в виде скелета, но встретились цензурные недоразумения, и книга не появилась в свет.

* * *

Сергей Сергеевич Голоушев, у которого, как я сказал, собиралось филиальное отделение телешевских «Сред», всем нам был хорошим товарищем. Этот интересный человек имел и интересное прошлое: он—сын жандармского полковника; в 70-х годах вступил в партию «Народная Воля», состоял

в «Обществе 193-х»; был арестован и выслан на Север. Отбыв ссылку, поселился в Москве, заняв место городского врача при Хамовнической части, где в его казенной квартире и собирались «Среды».

Голоушев, кроме врачебной практики, занимался живописью; его картины, подписанные «Сергеевич», пользовались известностью, и некоторые из них находятся в Третьяковской галлерее. Его монографии о художниках—Нестерове, Врубеле, Левитане представляют солидный труд.

Вообще Голоушев был очень предан живописи, и вел знакомство со многими известными художниками. Его рассказами из жизни художников мы заслушивались. Никогда не забуду его рассказов о том, как Василий Иванович Суриков искал натуру для своей картины «Меньшиков в ссылке», его рассказа о скульпторе Родене и мн. др. Пробовал Голоушев свои силы в беллетристике, но его печатные рассказы слабее его устной передачи.

Он был очень дружен с Л. Н. Андреевым и написал вместе с ним книгу о Художественном театре, подписанную: «Сергей Глаголь и Джемс Линч», первый — псевдоним Голоушева, второй — Л. Н. Андреева.

Вспоминается мне один случай, характеризующий Голоушева как хорошего товарища и человека. Это было в тревожные месяцы конца 1905 года. Мы собрались на «Среду» у Голоушева,

так как предпочитали собираться в казенной квартире, чем в частной. Сидим, беседуем, хотя все настроены нервно: вооруженное восстание в Москве развивалось. Вдруг появляется жена Скитальца и со слезами сообщает нам, что Степан Гаврилович арестован у Л. Н. Андреева. Нам всем стало не по себе.

Голоушев сейчас же отправился в управление Хамовнической части и там от пристава узнал, что Андреев и Скиталец арестованы.

Голоушев тут же сообразил, что на квартире у Скитальца будет обыск,—он жил тогда около Краснохолмского моста,—и отправил жену Скитальца домой, чтобы она там все прибрала. В то же время он знал, что в Москве проживал брат Скитальца, он и его постарался предупредить насчет обыска. На другой день мы узнали, как произошел арест Скитальца. Оказывается, что Андреев уступил свою квартиру для конспиративного собрания какого-то нелегального общества. Это собрание было выслежено чинами охранки; его накрыли и всех членов, в том числе и Андреева, арестовали, а в квартире сделали засаду. Квартира Андреева находилась в Грузинах, во 2-м Тишинском переулке, в доме Шустова.

Скиталец, идя из бани с узелком белья под мышкой, вздумал зайти к Андрееву попить чайку, но только-что взошел в крыльцо, как был схва-

чен охранниками. Видимо, их смутил узелок под мышкой Скитальца: они подумали, уж не бомбу ли он принес. Скитальца поразил такой неожиданный прием, он рявкнул своим басом, расправил плечи, и охранники отлетели от него в разные стороны. Однако он был арестован и вместе с Андреевым посажен в Таганскую тюрьму.

Голоушев в должности врача Хамовнической части был до 1906 года. Когда, после подавления восстания, в помещении пожарного двора при части было устроено место казни революционеров и Голоушев в качестве врача должен был присутствовать при казнях, он отказался от должности городского врача, переехал на квартиру на Остоженку, в Ушаковский переулок, и стал заниматься частной практикой.

В последние годы он служил врачем в Водном транспорте и умер 15 июля 1920 года. Похоронен он на кладбище Ново-Девичьего монастыря недалеко от могилы А. П. Чехова.

Телешевские «Среды» жили не одной только литературной жизнью, они живо откликались и на многие общественные явления политического характера. Помню горячие беседы М. Горького, когда он рассказывал о движении среди рабочих. Вспоминаю протесты и петиции на неправильные действия тогдашнего правительства, инициатором которых являлся Викентий Викентьевич Вересаев-

Смидович. Он и всю «Среду» направлял по этому пути, хотя «Среда» неохотно впускала политику в свои чисто литературные беседы.

В 1926 г. справлялся 40-летний юбилей литературной деятельности Викентия Викентьевича. Юбилей был обставлен широко; чествование юбиляра происходило в Малом театре с участием представителей большинства литературных и ученых обществ Москвы. В речах и приветствиях юбиляра сравнивали с В. Г. Короленко.

В такого рода выступлениях против действий правительства вместе с В. В. Вересаевым принимал участие и Николай Иванович Тимковский, который среди членов «Среды» отличался какой-то особой прямотой и честностью. У него дело было на первом плане. Бывало долго не видимся, встретимся, и первый вопрос с его стороны:

— Ну, что сделали за это время?

Это он судил по себе: он работал регулярно, каждый час у него был распределен и обдуман. Помню, мы с ним жили одно лето на даче в Апрелевке у Н. Н. Златовратского. Правильно, в известные часы, после работы, если не было дождя, Николай Иванович выходил из дачи и составлял партию «в городки». В конце лета у него были подведены точные итоги, сколько он сыграл партий, сколько из них выиграл, сколько проиграл. Играл он спокойно, не торопясь, с расчетом.

Спокойствие у него было во всем, его нельзя было заставить что-нибудь делать наспех. Вспоминаю один незначительный, но характерный случай: Тимковский жил на даче на «Хрустальном заводе», около г. Алексина. Кстати сказать, там же нанимал себе отдельный домик бывших заводских служб В. В. Вересаев; около этого домика у него был разведен прекрасный цветник.

Я приехал погостить на дачу к Николаю Ивановичу. Дача его стояла на берегу Оки, по которой мы часто катались в лодке. Однажды мы поехали кататься втроем: я, Николай Иванович и его первая жена Екатерина Николаевна. Начал накрапывать дождь. Екатерина Николаевна стала просить грести поскорее, но Николай Иванович ни капли не прибавил скорости и продолжал так же равномерно поднимать весла.

Когда члены «Среды» устраивали поездки за город, Николай Иванович никогда не принимал в этом участия: трудно было предположить, чтобы этот человек когда-нибудь был свободен.

Особенную любовь Тимковский питал к молодым, начинающим писателям, особенно к тем, в которых он видел серьезное отношение к литературе. Помогать всем обиженным жизнью, маленьким людям, было его священною обязанностью. Он в своих произведениях, по существу, близко подходил к А. П. Чехову, но ни тонкого юмора,

ни высокой художественности, в сравнении с произведениями Чехова, у него не было.

На литературный труд Тимковский смотрел не как на удовольствие и удовлетворение эстетических чувств, он просто, реально описывал своих героев, тоже «хмурых» людей, из мира мелкого чиновничества, служащих, учащих, учащихся, выбитых из колеи жизни, обиженных, униженных, задавленных сильными людьми. У него одна из лучших его пьес так и называется: «Сильные и слабые». Кстати сказать, Николай Иванович очень любил детей, и дети любили его, несмотря на его некоторую суровость.

Как скромно жил Тимковский, так скромно и умер. В начале 1922 года он заболел воспалением легких и по чьей-то протекции был отвезен в кремлевскую лечебницу; там он и умер 18 февраля 1922 года.

Помню день его похорон. У кремлевских Троицких ворот нас собралось человек десять. Ждем пропуска в Кремль; кто-то пошел хлопотать о пропуске. Но вот пропустили. Мы направились к самой древней из московских церквей—«Спас на Бору»,—там в пристройке храма устроена мертвецкая для умерших в кремлевской больнице.

Я видел Николая Ивановича за несколько месяцев до его смерти. Он тогда был очень исхудав-

шим, состарившимся; перед этим у него был легкий удар, и он ходил с трудом, опираясь на палку. На столе же в мертвецкой он лежал помолодевшим; лицо его было спокойно: должно быть, таким же стойким и твердым, каким был всегда, он встретил смерть.

Прислали,—опять-таки по протекции,—простой, ничем не обитый гроб из долго лежавших и почерневших досок да простые сани, на каких ломовые извочики развозят кладь. Когда стали класть в гроб и извозчик увидал, что под голову покойнику нечего было подложить, он сказал:

— Как же это, так нельзя!—и принес охапку сена.

В тяжелое время умер Н. И. Тимковский, и очень многие не знали о его смерти. Театры не вспоминали о нем, хотя многие из его пьес ставились на сценах столичных театров, известны были и в провинции. Даже братья писатели не могли притти проводить его в последний путь, так как в то время телефоны не работали, а газеты не помещали об'явлений о покойниках.

Екатерина Ивановна, сестра Николая Ивановича, рассказывала историю с могилой.

Оказывается, тогда получить могилу на Ваганьковском кладбище,—да и на других кладбищах,—было не так-то легко: и там были свои «хвосты»—

гроба с покойниками десятками стояли и ждали очереди, когда им выроют могилы.

Когда Екатерина Ивановна стала упрашивать могильщиков вырыть могилу вне очереди, ее спросили:

— Да кого вы хороните-то?

— Писателя,—сказала она.

— А! Писателя,—так надо уважить. Есть у нас запасная могилка, вот в нее и кладите.

Как жил попросту, так и в могилу пошел...

* *
*

Еще вспоминается старый участник «Среды»—Евгений Петрович Гославский.

Когда он вошел в «Среду», он был уже известным драматургом; его пьесы ставились на сцене Малого театра, а рассказы печатались в «Русской Мысли» и других журналах.

У Гославского было заложенное в банке имение в Рязанской губернии. Его страшно мучили проценты, которые он должен был вносить в банк: литература не обеспечивала его, имение не приносило дохода, кроме фруктового сада, который Гославский сдавал в аренду.

Однажды он сам вздумал реализовать свой сад.

— Наживаются на моем саду. Сам буду снимать яблоки!—решил Гославский.

Но уменья хранить яблоки и находить им место сбыта у него не было, и дело это кончилось ничем: яблоки он распродать не мог, и они у него погнили.

Я как-то написал ему, чтобы он прислал мне ящик яблок, но не указал способа пересылки, и он прислал мне ящик именным грузом. Мне пришлось лично получать ящик, но в багажной квитанции вышла ошибка: вместо «Ивану Алексеевичу Белоусову» было написано «Ивану Александровичу». Мне этот груз долго не выдавали,—пришлось несколько раз ездить на товарную станцию; в последний раз я отказался от этого груза и сказал начальнику багажного отделения:

— Возьмите вы себе эти яблоки!

Тогда начальник отдал мне ящик с яблоками, но они уже были наполовину гнилыми.

Еще одно дело он задумал вести хозяйственным способом: засадить усадебные места в имении капустой, чтобы торговать ею; для этого он снес старый скотный двор, решив, что там слишком унавоженная земля даст хороший урожай капусты. Местные крестьяне стали покупать у него капусту на корню, грядами. Придут, дадут задаток, выпьют с новым огородником полбутылочки и дожидаются, когда поспеет капуста.

Капусты уродилось действительно много; всю ее мужики раскупить не могли,—надо было искать

сбыта ее на стороне. Но ни к каким коммерческим делам Гославский—человек преданный литературе—не был способен. Наступили заморозки; крестьяне—покупщики капусты—пришли торговаться, стали давать дешевле, видя, что «барину» капусту девать некуда. Это так огорчило Гославского, что он махнул рукой на капусту, и она погибла под снегом на грядах.

Когда Гославский стал посещать «Среду», он был еще нестарым человеком,—ему было лет 45, но волосы на его голове, зачесанные назад, были совершенно белыми. За это Иван Бунин прозвал его «Бог-Саваоф».

Рассказы Гославского были изданы под названием «Путем-дорогой». Писал он и детские рассказы и пьесы для детского театра. Детские рассказы изданы С. В. Курниным под названием «Вешние воды» с обложкой, рисованной его братом—художником Петром Петровичем Гославским.

Под конец жизни Гославский получил по наследству еще имение в Симбирской губ. и перебрался на жительство из Москвы в Симбирск; там он жил настоящим затворником,—по целым месяцам не выходил из своей комнаты, стены которой были увешаны планами и проектами новых рассказов, но ему не удалось написать что-нибудь законченное, и это его мучило: он сделался недоверчивым, подозрительным, думал, что к нему все относятся несправедливо, недооценивают его.

Так в литературе он и остался неудачником: начав довольно ярко, он под конец потускнел и угас.

Умер Гославский 2 декабря 1917 года в Симбирске.

* * *

Часто посещал «Среды» А. Серафимович—Александр Серафимович Попов.

Он по происхождению — донской казак, в молодости состоял в какой-то политической организации. За хранение шрифта, которым печаталось и набиралось нелегальное издание, был арестован и сослан в Архангельскую губернию. Из ссылки он вернулся в Москву и жил литературным трудом.

Он иногда по целым месяцам гостил у меня и все время писал, сидя у себя в комнате в мезонине, никуда не выходил и только являлся к обеду и к чаю.

— Ну, что, много написали?—бывало спросишь его.

— Не ладится что-то... Идет у меня один человек по степи, а куда он придет, и сам не знаю, и придумать не могу...

— Небось «белесый» туман окутывает его в дороге?..—посмеешься ему, зная его излюбленное слово «белесый»... А. Серафимович часто болел или, вернее, любил болеть; он постоянно натирался спиртом, принимал какие-то лекарства, которые приготовляла ему его старушка-мать. Однажды он поселился в каких-то меблированных комнатах. Я пришел к нему и застал его лежащим в постели, закутанным в одеяло, поверх которого была накинута шуба.

— Что с вами?—спрашиваю я.

— Инфлуенца! вот уж который день мучает, проклятая. Температура 39 с десятыми и не спадает...

Я усомнился в его высокой температуре и говорю:

— Да не испорчен ли у вас градусник?—Вы бы его переменили.

На другой день я встретил А. Серафимовича на улице.

— Что, батюшка, ведь верно: градусник-то оказался испорченным. Я поставил другой, и оказалось—только 36 с десятыми,—с радостью сообщил он мне.

В 1905 году А. Серафимович жил на Пресне. Я помню, когда Мин начал громить эту местность, А. Серафимович с двумя маленькими детьми, Толей и Игорем, вырвавшись из-под обстрела,

пришел ко мне и рассказывал про те ужасы, которые ему пришлось пережить там в дни восстания, впоследствии описанные им в очерке «На Пресне».

Он очень любил путешествовать и часто уезжал в Крым, на Кавказ или к себе на Дон. Однажды он купил себе мотоциклетку. По этому поводу Л. Н. Андреев писал мне, что теперь наш А. Серафимович будет иметь непосредственное сношение не только с русским народом, но и с канавами, и с заборами.

С Л. Н. Андреевым он был в большой дружбе, вел с ним переписку, и Андреев любил дружески пошутить над ним. После Октябрьской революции многие из его товарищей-писателей увидали в нем перемену,—но они мало знали Серафимовича раньше: он каким был, таким и остался.

* * *

Максим Горький—Алексей Максимович Пешков—стал бывать на «Средах» в то время, когда еще проживал в Нижнем-Новгороде; там с ним познакомился Н. Д. Телешев, пригласил к себе, и Горький, как только приезжал в Москву, не пропускал ни одной «Среды». Когда он написал свою пьесу «На дне», читал ее на «Среде». Тогда он начал быстро входить в славу: о нем говорили,

писали, его портреты были распространены всюду, каждое новое его произведение бралось на расхват,—им зачитывались. Да и личная беседа с Горьким была в высшей степени интересна: негромким баском, ударяя на букву *о*, он рассказывал ярко, сочно, колоритно о том, что ему приходилось видеть, что он переживал, а жизнь его уже в то время была очень интересна.

В один из приездов в Москву, Горький сообщил нам, что в Нижнем он познакомился с одним любопытным писателем из певчих—Степаном Гавриловичем Петровым, который сотрудничал в поволжских изданиях, подписываясь псевдонимом: «Скиталец».

— Писатель талантливый, только пьет очень. Я ему сказал: ты пить пей, только, брат, пиши. Вот и теперь, уезжая, я оставил его у себя, купил ему водки и наказал, чтобы зря не шлялся, а заканчивал бы свою повесть. Он пишет теперь «Октаву»,—хорошая вещь!.. — рассказывал нам Горький.

Вскоре и сам Скиталец появился на «Средах». Высокого роста, крепкий, немного грубоватый—он в дружеской компании умел повеселиться и других повеселить, играя на гуслях и исполняя басом волжские песни. Как-то на одной из «Сред» он читал свой рассказ про какого-то кочегара, описывая его в ультра-реалистических тонах:

руки у него были железные, мускулы—стальные, жилы, как проволоки...

Горький, прослушав этот рассказ, сказал:

— Ну и герой же у тебя, Степан,—словно тигр из мехового магазина!..

Скиталец одевался так же, как и Горький,—носил поддевку, высокие сапоги и часто вместе с Горьким появлялся в общественных местах. Одно время к ним примыкал и Л. Н. Андреев, одеваясь так же, как они,—почему их прозвали «Подмаксимками».

Скиталец женился на дочери городского головы г. Симбирска, купца хлебопромышленника, богатого человека. Жена у него была болезненная, и он вскоре уехал с ней в Давос, а вернувшись оттуда, поселился в Крыму, так как жене его был нужен теплый климат.

Л. Н. Андреев, любивший пошутить над Скитальцем, рассказывал разные анекдотические случаи из его жизни в Крыму:

Приехали они в Ялту, сняли комнату, и как положили чемодан на самом пороге у входа в комнату, так и не собрались убрать его с дороги все лето и ходили, перешагивая через него, до самого от'езда.

Жене Скитальца посоветовали пить козье молоко. Решили купить козу. Пошел Скиталец на базар и привел козла!..

Делать было нечего,—оставили козла на даче. А козел оказался таким озорным,—может быть, его из за этого и продали,—что от него просто житья не было: он забирался на постели, на столы, перебил всю посуду,—просто не было с ним никакого сладу. Тогда Скиталец решился на отчаянное средство: он потихоньку от козла собрал все свое имущество и переехал на другую дачу, а козла оставил одного в пустой даче.

Или вот что еще рассказывал про Скитальца Андреев:.

— Прихожу к Скитальцу на дачу, вижу, в передней висит его енотовая шуба,—он как повесил ее в начале весны, так все лето и не посмотрел, что с ней делается, а ее всю с'ела моль. Я обратил внимание на шубу, а Скиталец говорит мне: «Вот не знаю, что делать,—вся шерсть вылезла, одна мездра осталась».—Это не беда,—говорю я ему,—купи в аптеке мази для рощения волос, смажь погуще шубу,—вот тебе и все!

И Андреев уверял, что Скиталец принял его совет за чистую правду.

И еще многое рассказывал Андреев про Скитальца все в том же шутливом тоне.

* * *

Скиталец был молодым членом «Среды», тогда уже сформировавшейся. Его привлек М. Горький.

Но и другие члены «Среды» делали то же самое: они чутко следили за появлением молодых литературных сил. Так Н. И. Тимковский обратил внимание на молодого сотрудника газеты «Курьер» Л. Н. Андреева. А. Серафимович отметил первые рассказы-миниатюры, появившиеся в той же газете «Курьер», подписанные—«Борис Зайцев», и вскоре эти два писателя появились на «Средах», Леонид Андреев—в рыжем пиджачке газетного репортера, а Борис Зайцев—в студенческой тужурке.

Несколько ранее на «Средах» появились братья Бунины.

Старший, Юлий Алексеевич, приехал в Москву, кажется, из Полтавы, где он служил статистиком в земстве. В Москве он пристроился к педагогическому журналу «Вестник Воспитания», издававшемуся Николаем Федоровичем Михайловым, сделался соредактором этого журнала и не оставлял этой должности до самых последних дней существования журнала.

Ю. А. Бунин как-то сразу вошел в литературную московскую жизнь,—он был видным членом очень многих литературных организаций, а на «Средах» всегда председательствовал. Умер он и похоронен в Донском монастыре почти рядом с могилой С. А. Муромцева.

С Иваном Алексеевичем Буниным я познакомился сначала письменно в 1887 году вот по какому случаю. В этом году я издал свою первую книжечку стихов «Из «Кобзаря» Т. Шевченка и украинские мотивы». Издал я ее на свой счет в количестве 300 экземпляров, получил книжку из типографии и не знал, куда ее девать. В это время я переписывался с одним поэтом-самоучкой Егором Ивановичем Назаровым, жившим в Орле. Я послал ему свою книжечку стихов и просил его устроить продажу моих книжек в Орле. Назаров в ответном письме написал мне, чтобы я выслал еще один экземпляр книжки молодому поэту Ивану Бунину, который тогда жил в Орле и работал в «Орловском Вестнике». Я послал ему свою книжку и в ответ получил от него письмо и его первую книжку стихов, изданную в Орле. Так у нас началась переписка, а когда он приехал в Москву, мы познакомились; я в свою очередь познакомил его с Н. Д. Телешевым, и он стал членом «Среды».

Самоучку Назарова Иван Бунин вывел как тип в одном из своих рассказов.

Назаров умер в Орле в 1900 году. Он служил в мещанской управе, и по инициативе его сослуживцев на его могиле поставлен чугунный памятник с надписями из его стихов.

Вместе с Буниным в Москве появился Василий Михайлович Михеев. Он в то время проживал

в Ярославле, где издавал газету. Там он и умер 8 мая 1908 года.

Михеев—сибиряк, был когда-то богатым человеком, имел свои золотые прииски. Он писал рассказы, пьесы, стихи. Первая книжка стихов его называлась «Песни Сибири». Приезжая в Москву, Михеев останавливался в меблированных комнатах на Арбате, поближе к Буниным, с которыми был в большой дружбе. Ю. А. Бунин жил в доме Михайлова, в Староконюшенном переулке, где находилась редакция «Вестника Воспитания».

Как-то раз Михеев зазвал нас к себе прослушать его новый рассказ. Я и братья Бунины пообедали в каком-то ресторане и после обеда отправились к Михееву. Он начал читать нам свой рассказ, в котором говорилось о семи снах и довольно длинно описывались эти сны.

Юлий Бунин, уставши от журнальной работы,—накануне он выпускал номер журнала,—прилег на диван и заснул. Когда Михеев кончил чтение и спросил мнение слушателей, Юлий Бунин, проснувшись, сказал:

— Ты меня извини, Василий Михайлыч, я крепко вздремнул и даже сны какие-то видел.

— Так ты, значит, весь рассказ прослушал,—заметил Иван Бунин.

Михеев не обиделся.

В каком-то своем рассказе, печатавшемся в «Ниве», Михеев вывел в карикатурном виде Владимира Евграфовича Ермилова, тот обиделся, и у них вышел конфликт.

Михеев был очень тучный человек, ходил он с трудом, в перевалку. Как-то он пришел ко мне на квартиру и сел в кресло; от тяжести оно под ним рассыпалось на части.

В начале 900-х годов в «Среду» вошел Алексей Евгеньевич Грузинский — профессор-словесник, бывший после Алексея Николаевича Веселовского председателем «Общества любителей российской словесности». Он автор многих пособий по изучению русской литературы, переводчик произведений старых персидских поэтов и Рабиндраната Тагора; в последнее время много работал над рукописями Л. Н. Толстого и редактировал посмертное собрание сочинений В. Г. Короленко.

На «Средах» бывал Виктор Сергеевич Миролюбов — редактор-издатель популярного «Журнала для всех». Этот журнал был первым самым дешевым журналом в России; стоил он один рубль в год, но по качеству литературного материала не уступал и толстым журналам. Миролюбов умел привлечь к себе в сотрудники почти всех лучших писателей того времени и в то же время открывал страницы своего журнала и молодым, начинающим литературным силам.

Бывало на «Среде» Миролюбов, обращаясь к Горькому, Андрееву и другим известным писателям, скажет:

— Что вы все даете свои произведения в толстые журналы? Там вас прочитают 5—6 тысяч человек. Вы должны у меня писать, — вас прочтут десятки, сотни тысяч людей.

— Этот длинный Миролюбов вполне прав,—нам надо итти в народ!..—скажет Горький с ударением на *о*.

«Журнал для всех» любил и А. П. Чехов, печатался в нем и мечтал быть его редактором и перевести редакцию из Петербурга в Москву.

С самого основания «Сред» постоянными посетителями их были: Елена Андреевна, жена Н. Д. Телешева, урожденная Карзинкина, художница-передвижница (ее картины находятся в Третьяковской галлерее; она ученица художника Василия Дмитриевича Поленова); брат ее—Александр Андреевич Карзинкин, принимавший близкое участие в жизни «Среды» и сам немного занимавшийся литературой, и Лев Аркадьевич Хитрово, писавший под псевдонимом «Андрей Мирославич» в «Русской мысли» и других журналах. Хитрово умер 21 октября 1926 года и похоронен на Семеновском кладбище.

Вот вся основная группа, об'единившаяся в кружок «Среда». Жила эта компания дружно,

серьезно относясь к делу русской литературы, ревностно любя его и охраняя. Но за товарищескими ужинами члены «Среды» умели и повеселиться и пошутить. Так, например, сами члены «Среды» придумали друг для друга адреса, по московским улицам и переулкам. Эти адреса давали характеристику личности и творчества каждого писателя. Так, Л. Н. Андрееву адрес был дан — «Большой Новопроектированный переулок», Н. И. Тимковскому—«Зацепа», Е. П. Гославскому—«Большая Молчановка», А. Серафимовичу—«Кудрино» (намек на его голову, лишенную волос), Ф. И. Шаляпину—«Разгуляй», Ю. А. Бунину—«Старогазетный переулок», И. А. Бунину—«Живодерка» (намек на его худобу), Л. А. Хитрово—«Самотека», С. С. Голоушеву—«Брехов переулок», В. А. Гольцеву—«Бабий городок», Скитальцу—«Хамовники», В. С. Миролюбову—«Каланчевская площадь» (намек на его высокий рост), М. Горькому—«Хитровка», Н. Д. Телешеву—«Угол Ленивки и Большого Денежного переулка», Д. И. Тихомирову—«Кривоколенный переулок» (Тихомиров прихрамывал на одну ногу), В. М. Михееву—«Швивая горка», его же Ив. Бунин прозвал «Потонувший колокол», Н. Н. Златовратский переехал «от Старых Триумфальных ворот на Патриаршие пруды». Мне—«Пречистенка». А. П. Чехову никак не могли придумать адреса, а он очень хотел, чтобы

и ему дали адрес и писал об этом Н. Д. Телешеву. Давали адреса и не-членам «Среды»—тут были: «Большой и Малый Болвановские переулки», «Средняя Пресня», «Кутафья башня» и пр.

* * *

Леонид Николаевич Андреев появился на «Средах» в конце 1901 года, но я познакомился с ним несколько раньше через Н. И. Тимковского.

Весной 1901 года зашел ко мне Тимковский и предложил поехать навестить молодого, начинающего писателя Леонида Андреева, который в то время находился в лечебнице доктора Савей-Могилевича на Девичьем поле.

— Он не особенно болен, но растрепался от беспорядочной жизни, вот и лег в больницу, чтобы упорядочить себя: репортерская работа в «Курьере» выбила его из колеи,—говорил мне Тимковский.

И мы поехали на Девичье Поле.

Комната, в которой помещался Андреев, была на двоих; сожителем его был какой-то дьякон.

Помню, когда мы пришли, Андреев играл с дьяконом в шашки. После этого первого знакомства я встретился с Андреевым уже на «Среде». Молодой, с красивым энергичным лицом, с темными, откинутыми назад волосами, живой, остроумный

собеседник, Андреев нам, старым членам «Среды», пришелся по душе. На «Среде» он прочитал нам один из первых своих рассказов, который, при появлении в печати, обратил на себя внимание критики и читателей. Рассказ этот был «Жили-были». После Леонид Николаевич говорил мне, что героем рассказа является тот самый дьякон, с которым он находился в лечебнице.

— Только я не всего дьякона взял. Тот больничный дьякон, когда раньше меня выходил из лечебницы, забрал с собой все мои карандаши, перья и бумагу, так что после его ухода, мне и писать было нечем. Скаредный был дьякон! В рассказе я его переиначил!..

Леонид Николаевич был ревностным посетителем «Сред» и редко пропускал какую-нибудь из них: видимо, они ему пришлись по душе.

Все свои произведения, написанные им в Москве, он прочитывал на «Средах», и без обиды и самолюбия выслушивал замечания товарищей.

Какое он придавал значение товарищеской критике, можно заключить из того, что все особенно «раскритикованные» «Средой» рассказы, он не печатал.

Кстати вспомню один случай, характеризующий отношение Леонида Николаевича к московским «Средам». Когда он переселился на жительство в Петербург и занял квартиру на Каменноостровском

проспекте, он начал там устраивать у себя «Среды». Я, как-то бывши в Петербурге, попал на одну из таких «Сред». Читался новый рассказ Леонида Николаевича, но читал его не сам автор, а Александр Александрович Блок—и читал прекрасно.

Леонид Николаевич никогда не писал стихов, но стихи Блока любил.

На «Среде» было много петербургских писателей: Аким Львович Волынский-Флексер, Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, крепкий, черноволосый, цыганского типа, молчаливый человек; Борис Лазаревский; артист Александринского театра Николай Николаевич Ходотов, большой любитель литературы, и многие другие.

После прочтения рассказа происходило обсуждение его. Леонид Николаевич чувствовал себя как будто стесненным,—он сидел сзади всех и молчал,—словно он был не у себя дома.

В конце вечера он подошел ко мне, отозвал в сторону и сказал:

— Видишь, тут не то, что в Москве: вслух хвалят, а отойдут за угол, разносят во все корки! Не по-московски это...

А когда Леонид Николаевич переселился на свою дачу в Финляндию, он и там пытался устроить у себя собрания по образцу «Сред». Вот что он писал мне из Финляндии:

«На будущее Рождество устраиваю у себя с'езд московских и петербургских писателей для чтения докладов и обсуждения вопросов, и название с'езду «Литературная неделя». Я хочу такие недели сделать систематическими, вроде «Сред».

Как по твоему, может выйти дело?

Если писатели отнесутся дружественно,—такие с'езды приобретут общественное значение, о необходимости же их и толковать нечего.

Ты же, друг, будь пророком в Москве и подготовь нашу братию; потом сам приеду их приглашать, чтобы не упрекнули в барстве»...

На московских «Средах» мы обыкновенно засиживались далеко за полночь, и расходились по домам группами,—с кем кому было по пути. Леонид Николаевич жил в то время в Грузинах, довольно далеко от Чистых прудов, где собирались «Среды». Путь лежал по бульварам. Мне не раз приходилось сопровождать Леонида Николаевича на рассвете, а в весеннее время рассветает рано. Нам всегда сопутствовал С. С. Голоушев, живший в Хамовниках.

Всю дорогу велась оживленная беседа, и мы незаметно проходили далекий путь. Леонид Николаевич делился планами задуманных им новых произведений, или рассказывал о своем прошлом,—об Орле, о гимназической и студенческой жизни. Замечательно то, что планы некоторых произведений, задуманных писателем в самом начале его литературной деятельности, он осуществил только спустя несколько лет, в зрелые годы.

Так, помню, в одно из путешествий со «Среды», он с увлечением рассказывал мне план задуманной им повести из студенческой жизни, но повести он не написал, а спустя много лет появилась пьеса «Дни нашей жизни», в которой героями явились те самые лица, какие были в задуманной повести.

Вскоре Леонид Николаевич женился и зажил семейной жизнью. Тогда «Среды» с Чистых прудов иногда переносились к нему, но характер «Сред» не изменялся.

На «Средах» у Леонида Николаевича бывал Владимир Галактионович Короленко и постоянно, как только приезжал в Москву, М. Горький.

На лето Леонид Николаевич с женой Александрой Михайловной и со всей семьей: матерью Настасьей Николаевной, младшими братьями и сестрой, перебирался на дачу в Царицыно, верстах в 20 от Москвы, по Курской ж. д. Дача находилась на самом краю Царицынского парка. Жили Андреевы просто и скромно. Туда, как-то проездом через Москву, заглянул к нему Николай Константинович Михайловский.

В письме от июня 1902 года Леонид Николаевич писал мне:

«Третьего дня был у меня Н. К. Михайловский. Хо-роший старик!».

Видимо, молодой писатель был польщен визитом к нему старого, пользовавшегося тогда большой известностью, критика-публициста.

Вскоре в Петербурге возникло издательство «Знание», которое взял в свои руки М. Горький, а потом «Шиповник». Леонид Николаевич тесно примкнул к этим издательствам, что и заставило его перебраться в Петербург, откуда он в 1906 г. предпринял в первый раз поездку за границу.

Поездка эта окончилась очень печально: там во время родов, 27 ноября 1906 года, умерла его жена, оставив на руках Леонида Николаевича второго сына Даниила.

Приблизительно через год Леонид Николаевич снова женился. Это было в Ялте 1908 года весной, после Пасхи, в это время и я был там.

В пасхальную ночь мне, как старому москвичу, захотелось посмотреть ялтинскую встречу праздника и сравнить ее с московской. Я подошел к собору, стою, наблюдаю толпу и вдруг почувствовал, кто-то дернул меня за рукав, оглянулся, вижу—Андреев. Поздоровались.

— Когда ты появился здесь?—спрашиваю я.

— Да только сегодня. Угораздило меня ехать из Севастополя на пароходе, попали в качку, и так меня растрепало в пути, что я насилу пришел

в себя,— все лежал у себя в номере гостиницы, а теперь вот вышел прогуляться.

Около него стояла какая-то дама; лицо ее было закрыто коричневой вуалью.

— Позволь тебе представить, моя жена—Матильда Ильинична Денисевич,—обратился ко мне Леонид Николаевич.

Она подала мне руку и не сказала ни слова.

— Ты приходи ко мне завтра вечерком, у меня никого не будет, попьем чайку. Я сегодня же переедy на дачу Елпатьевского,—его Думбадзе выслал из Ялты, и дача его пустует,—сказал мне Леонид Николаевич на прощанье.

Вечером на другой день я был у него; сидели втроем, пили чай, мирно беседовали.

Леонид Николаевич начал рассуждать о том, какие должны быть у писателей жены. Он самым серьезным тоном говорил о правах и обязанностях жен, пред'являл к ним огромные требования, приводил цитаты из «Домостроя».

И все это говорилось в шуточно-преувеличенном виде.

Матильда Ильинична вдруг неожиданно поднялась из-за стола и ушла в другую комнату. Леонид Николаевич забеспокоился и тоже ушел от меня. Я остался один, чувствуя неловкость. Через минут пять он вернулся и сказал, что у жены за-

кружилась голова и что она извиняется передо мной.

Приняла ли она шуточный разговор Леонида Николаевича за серьезный, или на нее подействовала качка на пароходе,—так я и не понял.

В конце пасхальной недели я уезжал из Ялты. Леонид Николаевич просил меня остаться до его свадьбы и быть «отцом-посаженным», но я не мог отложить от'езд и уехал в Москву.

С. А. Найденов, живший тогда в Крыму, в своем письме описал мне эту свадьбу.

После свадьбы Леонид Николаевич поселился на своей даче, выстроенной им на купленной им земле на Черной речке, верстах в 7 от станции Райвола, Финляндской жел. дор.

Говорить об Андреевском доме я не буду,—его несколько раз фотографировали и рассказывали о нем разные небылицы, называя постройку нелепой, декадентской, но Андреев сделал себе то, что ему было нужно.

Когда огромный кабинет с зеркальными стеклами в окнах приводил кого-нибудь в изумление, Леонид Николаевич говорил:

— Это была моя мечта; посудите, я бросил большую петербургскую квартиру, как же я здесь-то забился бы в маленькие комнатки? Во время работы я люблю делать перерывы, походить, подумать,—вот тут у меня и просторно, и никто не мешает.

Впоследствии огромный дом начал тяготить Леонида Николаевича, и у него явилась мысль покинуть Финляндию.

Вот что он мне писал об этом:

«На зиму я, ты подумай, хочу перебраться в Орел; сейчас подыскиваю себе квартиру. На родину!..

С одной стороны, хочу тишины, а с другой— все же города. А здесь теперь очень трудно,— дороговизна адская. Да и мне стало скучновато: нас только трое взрослых—я, Анна и мать, а кругом — пустыня-пустынища! И для троих—сажень дров!.. Ты только вообрази это прогорание.

А в Орле есть у меня и родственники, и друзья по университету, и «усе есть». Как скучно,—пошел в кинематошку и дым в ноздрю пущай!..

А как захотел в Москву,—как скоро, так сейчас,—всего 8 часов.

Совсем же поселиться в столицах нет расчета, заест народ, дела и делишки. Сейчас: «в пользу беженцев», «отмена черты оседлости»... «не откажите!» И вообще: «Я хотела бы вам выразить»... Ну вас к чорту! Ой, где пирамидон?!»

Все же Андреев не уехал из Финляндии, хотя он действительно присматривал себе помещение

в Орле еще в то время, когда, возвращаясь из Крыма, сначала заехал в Орел, а потом в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому. Он мне рассказывал, что в Орле он был в старом отцовском доме и там на чердаке нашел свои детские рисунки, написанные углем и мелом на перегородках чердака. Остаться в Финляндии он нашел выход: построил рядом с большим домом небольшой флигилек и был очень доволен им.

«Нынче перебрался жить во флигелек, в приятные три комнатки, где солнечная терраса и так близка трава и благовоние почек, будто живешь снаружи. В качестве духов приобрел пук морского смоленого каната: может, во сне увижу, что плыву по морю, по морю, по морю... Буду ещё морские карты разглядывать».

Так писал мне Леонид Николаевич о своем новосельи.

Любовь к морю и удержала его в Финляндии. Одно время он даже переселился со своей дачи под Гельсингфорс, ближе к морю, к шхерам.

У него была своя моторная лодка, на которой он иногда уходил в море на несколько дней.

Сколько раз он предлагал мне испытать это удовольствие, зазывал меня к себе всячески, даже писал письма стихами. К сожалению, одно большое письмо стихами я затерял, только часть его воспроизведена в воспоминаниях брата Леонида

Николаевича—Павла. И мне ни разу не пришлось воспользоваться прогулкой по морю.

Вот отрывки писем Леонида Николаевича, где он пишет о море:

«Вот думаю все о лете, о море: только и спасение. Уйду в море, солнце спину согреет, волна споет,—и все забуду!..»

А вот из другого письма:

«Здоровье мое совсем не важно, устал я фантастически лет за шесть. Словно шесть лет бегал на корде. Одна надежда на лето, на море...»

Морское плавание было одно из устойчивых увлечений Леонида Николаевича, которое он неохотно прерывал даже для литературных работ.

Он сам об этом писал мне:

«Ах, трудно, и как больно влезать в старую литературную шкуру!..

Вот уже укладывают вещи и отправляют лодки. Кончается бритая морда—морской волк—капитан Андреев, и с горьким плачем родится для жизни Леонид Андреев, тот самый, который...

Завтра начинаю отпускать усы. Конец!.. Конечно, на Черной речке я не усидел и с половины июня внезапно переехал на дачу в Берке (под Выборгом). И, конечно, опять-таки на даче толком не жил, а шатался по шхерам на «Далеком», что и есть мое основное, летнее, любимое. И так быстро кончилось, и мало было тихих ясных дней,

а больше—непогода, штормы: и мотало нас, и трепало нас, и были совсем серьезные моменты, когда жутковато было оглянуться кругом, и время останавливалось. Теперь и вспомнить страшно. Да было ли это? Морская пустыня, красное в волокнах заходящее солнце. Неумолимые волны идут, нарастают, пухнут, шипят, поднимают на хребет и несут, тащат назад, толкают, валят... Так поднимают и несут, что словно на ходулях идешь или верхом на табуне скачешь. И главное, самое главное, и каждый раз удивительное: ни поговорить с ними, ни поспорить толком, ни об'ясниться, как благородному человеку, ни взять своих слов обратно,—ничего человеческого, к которому привык, а неумолимо и глухо стихийное, бесповоротное, ужасное в своей недоступности мольбам, доводам, раскаяниям...

Иной раз заберешься в такую кашу и видишь, что тут совсем не шутят и на твою ласковую улыбку не отзываются. И хочется сказать: извините, я хотел только покататься, а теперь мне надо домой, я уже совершенно удовлетворен!..

Нет, иди, пока можешь, а не станет сил, кувыркайся, окунайся в мою воду, ищи дна!.. Пустыня кругом, пустыня!..»

Но морское плавание было не единственною страстью у Леонида Николаевича: временами у него появлялись другие увлечения. Так, одно время

он усиленно занимался фотографией; особенно его интересовала цветная фотография. Я видел у него целую коллекцию великолепно сделанных диапозитивов—портретных и видовых; он и с меня сделал портрет цветной фотографией.

«Будь я царь,—всех бы засадил за фотографию!»—писал он мне.

Иногда Леонидом Николаевичем овладевали такие увлечения, анализ которых не поддается никаким об'яснениям. Так, например, он одно время страшно увлекался игрой в шашки, он изучал теорию шашечной игры, решал задачи и всех, кто бы ни приходил к нему в это время, заставлял играть в шашки.

Как раз в период такого увлечения шашечной игрой, я и приехал к Леониду Николаевичу. Когда я вошел в дом, Леонид Николаевич находился вверху в своем кабинете.

Меня встретила Настасья Николаевна и с ужасом сообщила мне, что с Леонидом делается что-то неладное, она даже подозревала психическое расстройство.

— Что случилось?—спросил я.

— Да что, батюшка, с Леонидом что-то случилось, и ума не приложу, чтобы это значило: в шашки все играет; целые дни сидит, писать бросил; кто бы ни пришел—всех заставляет с со-

бой играть. Поговорите вы с ним, узнайте, отчего это?—просила меня Настасья Николаевна.

Во время разговора я увидал Леонида Николаевича спускающимся по лестнице. Увидав меня, он обрадовался:

— Собрался таки, старина! И хорошо сделал. А в шашки ты играешь?—задал первый вопрос Леонид Николаевич.

А я уже был в курсе дела и захотел пошутить над ним.

— Я, брат, так играю в шашки, что меня никто обыграть не может!..

— Как так?—удивился Леонид Николаевич,—пойдем сыграем.

— Какой же интерес играть со мной, когда обыграть меня невозможно?—настаивал я.

Однако, это ни к чему не привело, пришлось засесть за шашки.

Я знал эту простую игру, но не любил ее и почти никогда не играл в нее.

У Леонида Николаевича были выработаны приемы игры, расчитаны все ходы, а я играл совершенно без системы и к моему удивлению выиграл партию.

— Довольно,—сказал я,—видишь, со мной ничего нельзя сделать.

— Нет, нет!—запротестовал мой партнер,—давай сыграем еще.

Я чувствовал, что следующая партия не пройдет так благополучно, и, чтобы обеспечить проигрыш, сказал:

— Ну, хорошо, я тебе проиграю для твоего удовольствия.

— Мне этого не надо, играй по-серьезному,—заявил Леонид Николаевич.

Начали новую партию, которая, к моему удивлению, окончилась в ничью.

Позвали вниз, в столовую ужинать.

— Нет, как хочешь, а ты расскажи мне свою систему игры,—просил Леонид Николаевич.

— Никакой системы я не знаю,—сказал я,—в шашки не играл лет десять, а просто я своими бессмысленными ходами сбил тебя с твоей системы...

Но он мне не поверил.

Кроме того, Леонид Николаевич занимался и живописью. Способность рисовать в нем развилась рано: еще в гимназические годы в Орле он зарабатывал на свои личные расходы деньги писанием портретов тушью,—и у него были свои заказчики. Впоследствии он стал писать масляными красками, и картины его появлялись на петербургских выставках.

Припоминаю, как он писал с меня портрет в Крыму.

Весною я приехал в Алупку, и на другой день по приезде узнал, что там живет Леонид Николаевич. Я отыскал его на даче Доброхотовой над верхним парком. Как только мы встретились, он сейчас же засадил меня позировать.

— Вот,—говорит,—хорошо, что ты приехал, а то мне не с кого стало писать!..

Он привез с собой из Петербурга кис и краски, палитры, холст и до моего приезда успел написать портреты с жены и с матери; особенно удачен был портрет жены. Начались ежедневные сеансы. Я каждый день неукоснительно являлся на дачу Доброхотовой,—там все было приготовлено: кисти, краски, полотно, натянутое на подрамник, тут же стоял кипящий самовар,—в то время Леонид Николаевич, кажется, одного часа не мог пробыть без чая... Я усаживался в кресло, и сеанс продолжался до обеда; потом мы ненадолго расходились, а после обеда я снова являлся на сеанс.

Судя по портрету Анны Ильиничны, я думал, и мой портрет выйдет удачным. И правда,—сначала шло все очень хорошо и говорило о благополучном окончании; но случилось то, что не оправдало моих ожиданий.

Прихожу как-то утром на сеанс, встречает меня Леонид Николаевич и говорит:

— Вчера, как ты ушел, мне так захотелось поработать над твоим портретом, что я не утерпел и

начал писать без тебя, и очень много подвинул дело вперед: посмотри...

Портрет стоял прислоненный к стене. Я повернул подрамник и вместо своего портрета увидел странную фигуру: голова с рыжими волосами, лицо искривлено злобной улыбкой, один глаз полуприкрыт, другой—зло и хищно смотрит с полотна; голова втянута в плечи, отчего во всей фигуре было что-то птичье—хищническое...

— Что это значит?—спрашиваю я в недоумении.

— А вот что: вчера вечером мне страшно захотелось изобразить Иуду, но заготовленного полотна не было, и я решил писать на твоем портрете. Как видишь,—получилось нечто...

Иуда, действительно, вышел замечательным, но мой портрет погиб. Осталась только фотография с того момента, когда я позировал; на фотографии виден и портрет.

— Ты не огорчайся и не обижайся: соединим приятное с полезным,—поедем в Ялту, купим полотна и я напишу тебя снова...—утешал меня Леонид Николаевич.

После обеда поехали в Ялту вдвоем, купили полотна и отлично прогулялись, проехавшись по прекрасному крымскому шоссе.

На другой день Леонид Николаевич начал снова писать мой портрет, но уже на полотне меньшего

размера, так как в Ялте другого не оказалось; да писалось уже не с той энергией. Так портрет и остался незаконченным; только голова была выписана более или менее детально.

Хорошее время мы провели тогда в Алупке! Часто по вечерам мы вдвоем совершали прогулки,—забирались к верху, к горам и шли без всякой цели по верхней безлюдной дороге, вспоминая московскую и петербургскую жизнь, общих друзей и знакомых; Леонид Николаевич рассказывал разные эпизоды из своей жизни.

Иногда мы начинали фантазировать, вспоминая о Москве, и высказывали друг другу фантастические утопии,—например: что было бы с Москвой, если бы все жители до единого покинули ее лет на 50? Леонид Николаевич рисовал такие картины:

— Прежде всего,—говорил он,—в первый же год были бы выбиты все стекла. Кто бы мог их выбить? ведь людей-то не было бы?—А это всегда так бывает: как какое-нибудь жилище покидается людьми, так сейчас же уничтожаются стекла. А на Тверской улице вырос бы молодой лесок; Замоскворечье все сплошь бы заросло лесом,—росли бы грибы, бегали бы зайцы...

Так ходили мы до темна. Южная ночь надвигается быстро: пока идем по дороге вперед,—еще светло, а станем возвращаться,—накроет ночь,—темная, темная...

Однажды в темноте подходим к какому-то «каравая-сараю»—к постоялому двору,—людей никого не видно, только со двора слышатся звуки гармоники,—кто то под нее поет русскую,—широкую, протяжную песню. Леонид Николаевич остановился и замер, прислушиваясь.

— Хорошо! Словно у нас—в Орле...—сказал он тихо.

Обратно он пошел молча, словно о чем-то раздумывал. Видно, родное, далекое, прошлое всколыхнулось в его памяти.

В это время в Алупку приехал Владимир Галактионович Короленко, которого я несколько раз встречал у Леонида Николаевича на его «Средах» в Москве. При встрече со мной Леонид Николаевич сообщил мне о его приезде и сказал:

— Я вчера был у него, славно мы с ним побеседовали,—замечательный человек! И тебе надо бы с ним повидаться,—я ему о тебе говорил.

— А как его отыскать?—спросил я.

— Вот это дело довольно мудреное: он поселился в горах над Алупкой,—еще выше меня. Я к нему один раз пошел и не нашел его дачи. Он сам приходил ко мне, но не застал меня и оставил свою визитную карточку, на которой нарисовал свою дачу и дорогу к ней,— по карточке я и отыскал его. Вот тебе эта карточка, по ней и ты отыщешь.

Я взял карточку и на другой день отправился разыскивать дачу Короленка. Действительно, дача находилась в глухой местности, над самой верхней дорогой. Подойти к ней было довольно трудно: то наткнешься на каменную ограду, утыканную разбитыми бутылками, то на проволочное заграждение, а спросить не у кого,—кругом безлюдье. Издали я видел дачу, и долго стоял, смотрел на нее,—на террасе никого не было видно.

На другой день я встретил Владимира Галактионовича в парке, около моря. Подошел, поздоровался с ним.

— Я слышал от Леонида Николаевича, что вы здесь,—сказал он.

— Мне очень хотелось повидать вас, и я вчера отправился к вам по адресу, который дал мне Леонид Николаевич, но до вашей дачи не добрался,—только видел ее издали. И я рассказал про свое путешествие к нему.

— И немудрено, что вам пришлось меня разыскивать: Я в своей Полтаве привык к тишине, а потому и здесь стараюсь поселиться, где поглуше. К тому же, вчера меня не было дома,—я перед от'ездом стараюсь больше гулять. Очень жалею, что нам не пришлось посидеть, побеседовать,—я завтра уезжаю,—добавил Владимир Галактионович.

Больше мне с ним не пришлось встретиться. У меня осталась на память та визитная карточка, по которой я разыскивал его в Алупке. На ней с одной стороны напечатано:

«Владимир Галактионович Короленко редактор-издатель ж. «Русское Богатство», а с другой—рукой Короленко карандашем написано: «Заходил. Не застал. Если соберетесь ко мне, то на всякий случай сведения: дача Арсеньева. Видны с дороги две дачи».

Дальше нарисованы два домика с надписями: под одним—дача Арсеньева, а под другим—дача Прессара. Ниже: «Ход через Хоба-Туба. Ваш Короленко».

Уезжал я из Алупки вместе с семьей Андреевых,—наняли две коляски и не спеша поехали в Севастополь.

Дорогой мы часто выходили из коляски, шли пешком, разминались после долгого сиденья.

В Севастополе остановились в одной гостинице и прожили два дня,—осматривали город, ездили на лодке в Аккерманский монастырь, были на развалинах Херсонеса.

Когда мы стояли в Аккермане на верхней площадке и любовались морем, ко мне подошла какая-то дама и спросила:

— Вы не Леонид Андреев?

Я указал ей на Леонида Николаевича, и она с любопытством стала рассматривать его.

В то время имя Андреева было уже широко известно публике, особенно по рассказу «Бездна», вызвавшего так много толков и протестов, начиная с Софьи Андреевны Толстой.

В Севастополе Леонид Николаевич вздумал купить себе «шмитовский» плащ,—в то время были в моде эти плащи—накидка морского офицерского покроя. Когда мы взошли в магазин, приказчики сразу узнали в покупателе Леонида Николаевича и шопотом, переглядываясь, повторяли: «Это Леонид Андреев», «это Андреев»...

Из Севастополя мы раз'ехались в разные стороны. Я—в Москву, семья Леонида Николаевича—в Петербург, а сам он заехал в Орел—навестить свое старое пепелище, где провел детство. Из Орла он проехал в Ясную Поляну, к Л. Н. Толстому.

После поездки в Ясную Поляну, Леонид Николаевич поселился в Финляндии, откуда довольно часто приезжал в Москву, для участия в постановке своих пьес: «Профессор Сторицын», «Катерина Ивановна» и «Человек, который получает пощечины». В эти приезды я постоянно встречался с ним. Однажды он ночевал у меня, и мы с ним долго беседовали.

Наблюдая Леонида Николаевича при встречах и в беседах, я все больше узнавал его и замечал

странную раздвоенность его натуры; как-то сказал ему об этом,—он согласился.

— Да, действительно,—на меня действует всякий наркоз, не говоря о вине, но даже, если я много курю или пью крепкий чай, я чувствую, что я раздвояюсь: во мне живут два человека, не похожих один на другого. Иногда я сплю и, кажется, крепким сном, а в то же время слышу и понимаю до мельчайших подробностей все, что происходит вокруг меня.

Вот как сам Леонид Николаевич в письме ко мне описывает свое состояние:

«Последние месяцы я испытываю странную и опасную развинченность моей личности. Это не то что раздвоение, а раздесятерение и даже больше; а захватывает оно не только мою духовную сферу, но гибельно отражается и на физической стороне.

Долго я искал об'яснения этому странному и мучительному явлению, пока в энциклопедии не встретилось мне исчерпывающее об'яснение.

Оказалось, что причиной моей развинченности является российский сепаратизм, расколовший мою, дотоле единую личность так же, как расколота Россия: отделение Польши, Украины, Финляндии и пр. вызвало и во мне соответствующие сепарации. По отцу—я великоросс, по матери и деду—поляк, по бабке и всему ее роду (Кулиш)—я хохол, по месту оседлости—финн. Далее—по

деду с отцовской стороны—орловский предводитель дворянства, я помещик, крупное землевладение, буржуй; по бабке—крепостной беднейший крестьянин, эксплоатируемый класс, почти батрак.

До сих пор эти весьма разнородные национальные, государственные и классовые элементы довольно мирно уживались во мне под единой фамилией Л. Андреева, и все шестеро; великорос, поляк, хохол, финн, буржуй и батрак дружески ходили в кабак или ресторан,—и там поляк плясал мазурку, хохол спал головой на столе, помещик—привередничал, а беднейший крестьянин производил умеренный погром; великоросс же потом расплачивался по счету или производил иностранный заем.

Так жили мы все шестеро, а может—больше. И что же получалось? В то время, как хохол обнимается с немцем в восторге сепаратного мира, поляк враждует с хохлом, а великоросс хочет драться с тем же немцем, поляком и хохлом»...

Письмо шуточное, но в этой шутке скрывается глубокая правда: характерные черты описанных в письме персонажей проявлялись в самом Леониде Николаевиче.

Благодаря свойствам своей натуры, он действительно мог преображаться. Когда он увлекался морем, он сбривал усы, надевал капитанскую куртку и фуражку и вполне чувствовал себя «капитаном Андреевым». Когда он писал «Черные маски»,—это был герцог Лоренцо со всеми приемами и даже походкой принца. Писал «Сашку Жигулева», он—разбойный человек, и речь его изменялась: он любил разбойничьи песни, заводил в это время граммофон и слушал по целым часам. Он переживал то, что в данное время переживали создаваемые им его герои...

Это свойство таланта Леонида Николаевича давало ему возможность браться за самые разнообразные и порою смелые темы...

Леонид Николаевич был всегда интересен. Когда в дружеской беседе он начинал о чем-нибудь рассказывать, все напряженно слушали его, а он, импровизируя, засыпал нас яркими, остроумными образами, то в шутливом, то в серьезном тоне.

После встречи в Крыму, я не раз навещал его в Финляндии. Помню, в первый свой приезд к нему, после Крыма, я увидел у него в гостиной свой портрет, который он начал писать в Алупке. Я был изображен в белом чесучевом пиджаке. Я заметил, что никогда не носил белых пиджаков.

— А видишь ли, в чем дело: в Крыму я закончил только голову, а пиджак хотел закончить здесь, но забыл, какого цвета был твой пиджак,—я взял и изобразил тебя в чесучевом пиджаке,—об'яснил Леонид Николаевич.

А я пошутил:

— Вот, говорю, Леонид, ты теперь этот портрет можешь с успехом продать какому-нибудь парикмахеру для вывески, особенно в провинции,— я там такие портреты видел на парикмахерских. Внизу ты можешь подписать: «Здесь стригут и бреют, Андреев из Финляндии».

— Ты ничего не понимаешь,—как-будто обиделся Леонид Николаевич,—его сам Репин похвалил: Был как-то у меня, увидал твой портрет и сразу узнал тебя: это, говорит, Белоусов.

— Ну, не сердись, я пошутил: портрет очень хорош,—успокоил я его,—ты мне подари этот портрет.

— Нет, не подарю,—он тебе не нравится,—язвительно заметил Леонид Николаевич, но впоследствии, года через два выслал мне портрет в Москву. Этот портрет теперь находится в Чеховском музее.

Как-то в начале зимы я был в Петербурге. В это время там жил А. Серафимович, и мы вместе с ним вздумали поехать к Леониду Николаевичу.

Я не люблю Петербурга с его туманными, бессолнечными днями, с его черными от копоти зданиями—мрачными, холодными и деловыми, как сами петербуржцы.

В Финляндию я поехал с удовольствием: там чистый, белый снег, тишина. Отдохнуть от петербургской сутолоки, когда не разбираешь, где день,

где ночь, в деревенской тишине было хорошо, да и с Леонидом Николаевичем я давно не видался.

От станции Райвола по Финляндской ж. д. по прекрасному снежному пути, среди сосновых лесов, крепкая финская лошадка через час с небольшим доставила нас в Ваммельсуу, на дачу Андреева. Хозяина мы застали дома; он был рад нашему приезду. Пошли разговоры об общих знакомых, о литературе.

— А у меня недавно был «Берцовая кость»,—сообщил нам Леонид Николаевич. Так он называл С. С. Голоушева.

В первый же день наша беседа затянулась далеко за полночь. Леонид Николаевич мог просидеть и всю ночь напролет, так как любил работать по ночам.

Сидели в кабинете за чаем. Разговор зашел о творчестве писателей вообще и в частности коснулись творчества Л. Н. Толстого.

Леонид Николаевич сделал очень меткую характеристику творчества Толстого, как художника-писателя.

Он говорил:

— Удивительное дело, каким огромным, своеобразным талантом обладал Лев Николаевич. Он так приступал к творчеству: брал видимый всеми живой предмет, всматривался в него своим зорким писательским взглядом и отмечал в этом предмете

самые характерные черты, которых простым смертным видеть не дано, как бы высасывал из предмета все особенности, все яркие черты, как пчела высасывает из цветка сладкий сок, а потом изображал их в простых, понятных всякому словах и образах. И делал это до тех пор, пока из предмета было взято все, что надо было ему взять. Таким образом являлся тип, созданный художником.

И вот этих живых предметов, служивших натурой для художественных работ Льву Николаевичу, не стало,—они умерли, но то, что было взято от этих предметов и перевоплощено в художественное произведение,—то стало бессмертным. На известном протяжении времени можно забыть самых близких людей, но типы, созданные художником Толстым, никогда не забудутся.

Так закончил Леонид Николаевич свою характеристику Л. Н. Толстого, как художника слова.

Я заметил, что Леонид Николаевич любил работать по ночам, и мне по этому поводу вспомнился еще один приезд к Леониду Николаевичу в Финляндию,—это было на другой год после смерти Л. Н. Толстого. Памятно мне это потому, что, когда я собрался ехать в Финляндию, дирекция Литературно-Художественного Кружка поручила мне заехать к Илье Ефимовичу Репину в Куоколла и посмотреть портрет Л. Н. Толстого, который был

заказан Илье Ефимовичу Кружком: сам Илья Ефимович просил приехать кого-нибудь из директоров кружка и посмотреть на его работу.

Конечно, смотреть и проверять, как пишет Репин, было нечего, но я, проездом к Леониду Николаевичу, мог к нему заехать, тем более, что я был с ним знаком раньше.

Куоколла только через одну станцию от Райволы, и я выехал из Петербурга утром, чтобы побывать в «Пенатах»,—так называется дача Ильи Ефимовича, и к вечеру попал к Леониду Николаевичу.

В «Пенаты» я попал к завтраку. Во время беседы с Ильей Ефимовичем в его кабинете, вошла Наталья Борисовна Нордман-Северова—жена Ильи Ефимовича. Она приняла участие в нашей беседе, которую свела к своей излюбленной теме о прислуге и вегетарианской кухне. Я сам не видал, но мне говорили, что ею была составлена поваренная книга, где, между прочим, имелся рецепт приготовления великолепного супа из сена.

Наталья Борисовна подарила мне свою брошюрку «Следует раскрепостить прислугу», посвященную кухаркам, горничным и лакеям, и пригласила нас к завтраку, который был действительно строго вегетарианский: гренки из белого хлеба, жареные бобовые орехи, так называемые, «китайские», чай и больше ничего. О портрете Л. Н. Тол-

стого я и не заикался: мне так было неловко просить Илью Ефимовича показать мне портрет,— словно я собирался контролировать его работу. Но Илья Ефимович сам выручил меня,—он сказал, что портрет находится еще в таком виде, в каком ему не хотелось бы его показывать.

И я был рад, что такое щекотливое поручение для меня разрешилось благополучно. Между прочим, я попросил у Ильи Ефимовича позволения снять копию с его картины «Гоголь и о. Матфей», для приложения к журналу «Путь», который я в то время издавал.

— Да вы с какой картины хотите снять копию?— спросил Илья Ефимович.

Я сказал, что знаю только одну картину.

— Подождите, вот у меня будет фотограф, и я попрошу его снять фотографию с первого варианта этой картины,—там у меня о. Матфей посердитей. Вот с этого варианта и пришлю вам фотографию,—пообещал Илья Ефимович и исполнил вскоре это обещание.

Когда я собрался уходить, боясь опоздать на поезд, Илья Ефимович пошел провожать меня до передней, и когда увидел, что я в ватном пальто, удивился,—как это я поеду на лошадях от станции Райвола до Ваммельсуу.

— Да вы замерзнете! Подождите, я дам вам свою бурку, в дороге это чудесная вещь,—никакой ветер не продует,—предложил Илья Ефимович.

Я отказывался, уверяя, что, хотя и выпал снег, но погода очень теплая.

Однако, Илья Ефимович настоял на своем,—пошел и принес бурку.

— Но как же я доставлю вам ее обратно?— спросил я.

— А это очень просто: когда вы будете возвращаться от Андреева, сойдите на станцию и отдайте бурку первому встречному, скажите, чтобы передали мне,—об'яснил Илья Ефимович.

Я так и сделал, и бурка действительно была доставлена Илье Ефимовичу.

Но я не пожалел, что взял бурку: к вечеру поднялся холодный ветер, и без нее было бы плохо.

Приехал я к Леониду Николаевичу часов в 7 вечера. Он еще не вставал и я узнал, что он начинает работать только тогда, когда все в доме улягутся спать. Вскоре появился Леонид Николаевич. Поужинали; все разошлись по своим комнатам, а Леонид Николаевич с Анной Ильиничной ушли в свой кабинет.

Мне приготовили постель в небольшой комнатке рядом с кабинетом. Я лег и долго слушал, как работала пишущая машинка,—это Анна Ильинична переписывала черновые рукописи Леонида Николаевича. На время машинка замолкла, ко мне вошел Леонид Николаевич.

— А я зашел узнать, спишь ты или нет?

— Нет,—говорю я,—не сплю.

— А хочешь, я дам тебе прочитать первые главы «Сашки Жигулева»?—предложил он мне и принес из кабинета довольно об'емистую тетрадь.

Я принялся за чтение. Сначала читал с увлечением, а потом усталость взяла свое,—я задремал, а в это время в лампе догорел весь керосин, и она начала коптить. Копоть, наполнявшая комнату, разбудила меня, и я услышал в темноте—меня окликает Леонид Николаевич.

— Что это у тебя тут?

— Да, вот,—говорю,—в лампе керосин весь догорел...

— Так что же? Принести тебе свечку?—предложил он.

— Нет, не надо: завтра ты будешь спать, мне делать будет нечего,—я и почитаю.

И рад был, что обошлось благополучно: Леонид Николаевич мог обидеться, заставши меня спящим с его рукописью.

Мне это напомнило случай, бывший с чтением рукописи «Отцы и дети» Тургенева: когда Тургенев дал Л. Н. Толстому почитать свою рукопись, а тот уснул за чтением ее, Тургенев увидал Льва Николаевича спящим, обиделся и долго не прощал ему этого.

В последние годы перед революцией мне не приходилось бывать в Петербурге, а следовательно, и у Леонида Николаевича, но он сам изредка приезжал в Москву. В один из таких приездов он читал на «Среде» свою трагедию «Самсон в оковах». После этой «Среды» Леонид Николаевич ночевал у меня. Приехали под утро; Леониду Николаевичу постлали постель на диване в кабинете. Я зашел посмотреть, как он улегся, и увидал его сидящим на диване.

— Что же ты не ложишься?—спросил я его.

— Боюсь: думаю, что если лягу, то умру,—не то в шутку, не то серьезно сказал он.

Потом он приезжал в 1916 году; останавливался он у своих родственников Добровых, живших на даче близ станции Бутово, Курской ж. д. Оттуда мы ездили с ним к Ивану Сергеевичу Шмелеву,—к нему на дачу под Серпухов; тогда сын его был на военной службе и стоял в лагерях в Серпухове. Леонид Николаевич приехал в Москву с целью пригласить сотрудников в газету «Русская Воля», в которую он был приглашен заведующим литературным отделом. С этой целью он и поехал к Шмелеву. Шмелев жил в крохотной дачке, к которой примыкал очень маленький, в виде треугольника, палисадничек.

«Словно в тюрьме живет»,—говорил мне после Леонид Николаевич.

Всю ночь до рассвета мы просидели на терраске, на рассвете пошли купаться на Оку, а после легли вздремнуть в мезонине под самой крышей. Я проснулся раньше Леонида Николаевича и увидал: он лежит, закрывши голову подушкой. Было уже около полудня; солнце разогрело железную крышу, и в мезонине было душно от жары.

— Все время мне не давали спать какие-то птицы, которые завели танцы на крыше. Вот я и закрылся подушкой,—чуть не задохся!—жаловался Леонид Николаевич.

И. С. Шмелев отказался от сотрудничества в газете; да и все москвичи отнеслись подозрительно к этому изданию, инициатором которого был министр Протопопов, и Леонид Николаевич уехал из Москвы недовольным. С тех пор я не видал его, и переписка наша прекратилась. Я даже не знал, где он находится; говорили, что он уехал за границу, но слухи эти были неверны, и только краткая телеграмма, проскользнувшая в газетах, известила о смерти Л. Н. Андреева в Финляндии.

Москвичи сначала не поверили этому, потому что после телеграммы ни заметок, ни некрологов нигде не появлялось: было такое время, когда не всякому сообщению можно было верить.

Мать Леонида Николаевича, Настасья Николаевна, тяжело переживала потерю любимого сына.

Вскоре и она скончалась и при довольно загадочных обстоятельствах.

Леонид Николаевич умер внезапно 12 сентября 1919 года на даче своего знакомого Ф. Н. Фальковского в Мустомяках, близ Петербурга, и был похоронен в парке при даче,—вернее не похоронен, а дожидался похорон: запаянный цинковый гроб с телом Леонида Николаевича стоял открыто в усыпальнице прежних владельцев дачи, так как родные Леонида Николаевича думали перевезти его в Москву и похоронить в Ново-Девичьем монастыре, помня его желание, высказанное им при жизни, чтобы его похоронили именно в этом монастыре.

В первое время Настасья Николаевна целые дни проводила у гроба сына,—она читала ему газеты, беседовала с ним; потом обстоятельства заставили ее уехать в Ваммельсуу, где она поселилась в флигельке, так как большой дом был необитаем. Ее редко кто навещал там, но однажды знакомые зашли навестить ее и нашли лежащей на полу мертвой.

Говорят, что она незадолго до смерти покушалась покончить с собой, но ее во-время спасли от самоубийства.

Умерли и братья Леонида Николаевича—Павел и Андрей, и теперь жива только сестра его Римма Николаевна.

Настасью Николаевну похоронили недалеко от дачи, около часовни, построенной Крестовским на могиле своей жены; там образовалось нечто вроде русского кладбища.

Не знаю, почему не удалось перевезти тело Леонида Николаевича в Москву, хотя слышал, что хлопоты об этом были, и его похоронили около могилы матери.

Когда в театре Корша была поставлена пьеса «Дети Ванюшина»—это было в 1901 году—и когда вся Москва заговорила об этой пьесе, на «Средах» появился и сам автор ее—Сергей Александрович Найденов, которого мы, члены «Среды», в шутку прозвали отцом „Детей Ванюшиных."

Это был человек молчаливый, стеснительный, в дебатах, при обсуждении прочитанного на «Средах», он почти никогда не участвовал. Сошелся он ближе всех с И. А. Буниным.

Однажды в дружеской беседе он рассказал нам, как создалась его пьеса, и сообщил кое-какие сведения о себе.

Настоящая фамилия Найденова была Алексеев; он—волжанин, отец его—купец, имевший свою торговлю в Казани. Сергей Александрович учился в казанской гимназии. После смерти отца, имущество было разделено между наследниками. Сергей Александрович, получив свою часть наследства, занялся торговлей,—сначала серебряными вещами, а потом посудой, но торговля не пошла, дело пришлось прекратить.

С оставшимися от ликвидации деньгами Найденов приехал в Москву, где ему посоветовали приобрести артельное место, т.-е. сделаться пайщиком биржевой артели, от которой он и получил место агента в страховом обществе. По службе вышел с его стороны какой-то промах, и он чуть было не угодил под суд, но кончилось тем, что он был исключен из артели с выделом только части пая, а остальная часть пошла на покрытие причиненных артели убытков по его вине.

Что было делать человеку, не приспособленному к жизни? Как устроиться? Торговать и служить он испробовал, и из этого ничего не вышло, оставалось одно излюбленное дело, к которому его влекло с юных лет,—литература.

Хотя и это дело вначале ему не удавалось, но утопающий хватается за соломинку.

— Я решил написать пьесу, которая имела бы успех, и если этого не выйдет, тогда один конец—жить не стоит...—решил Сергей Александрович.

Оставшиеся деньги давали ему возможность просуществовать год. Он нанимает в меблированных комнатах «Европа» на Сретенке номер за 15 рублей в месяц. Достаточной обстановки в номере не было,

и он покупает на «Сухаревке» за 5 рублей письменный столик и чернильницу и засаживается писать пьесу. Наблюдения над жизнью купечества, пережитое в своей собственной семье—у него готовый материал. Ведет затворническую жизнь: нигде не бывает, никого не принимает у себя. Так просидел он полгода, и результатом этого явилась пьеса „Дети Ванюшины".

Пьеса сначала была поставлена в Петербурге, но благодаря ли неудачному составу исполнителей или по другим причинам—прошла незамеченной. Поставленная же в Москве в театре Корша 27 декабря 1901 года в бенефис артиста Николая Васильевича Светлова имела огромный успех и произвела переворот в жизни Сергея Александровича: он воспрянул духом, ожил,—он вышел в свет. Все сложилось счастливо: он женился на актрисе Инне Ивановне Мальской, игравшей у Корша одну из ролей в его пьесе, материально был обеспечен, но его подстерегал бич человечества—туберкулез, спасаясь от которого, Сергей Александрович долгое время жил в Крыму, в Ялте, где и скончался 5 декабря 1922 года.

Похоронен он на ялтинском кладбище. Недавно на могиле его женой, Инной Ивановной, поставлен памятник, а дачка, где он скончался, превращена в музей его имени.

Посещал «Среды» Иван Андреевич Данилин. Он по происхождению из рабочей среды,—отец его был типографским рабочим,—по этой дороге он повел и сына: Иван Андреевич был долгое время типографом у И. Д. Сытина, а потом перешел на службу в губернское земство и работал по статистике вместе с известным статистиком Иваном Павловичем Боголеповым.

Печатался Иван Андреевич во многих журналах и газетах: в «Русской Мысли», в «Журнале для всех», в «Русских Ведомостях», в «Русском Слове», в «Копейке» и др. Его рассказы—преимущественно из жизни рабочих—выходили отдельными книгами в издании «Русская Мысль» и И. Д. Сытина.

В общественно-литературной жизни того времени Иван Андреевич принимал живое участие, состоя членом многих литературных обществ. В настоящее время он работает в Госиздате.

В первое время «Сред» вместе с Горьким и Скитальцем нередко заезжал Федор Иванович Шаляпин. После литературной беседы и ужина, он запросто садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел песни и романсы. Иногда Шаляпину аккомпанировал Сергей Васильевич Рахманинов, и тогда Шаляпин пел по-серьезному и говорил: «Здесь меня послушайте, а не в Большом театре,—там я за

деньги пою». При возвращении со «Сред», иногда у Шаляпина являлось желание петь на улице, и он затягивал «Дубинушку».

Однажды наша беседа на «Среде» затянулась довольно долго,—стали расходиться часа в три ночи. Идем по бульварам компанией во главе с Шаляпиным. Он был в особо веселом настроении,—всю дорогу пел, а когда спустились на Трубную площадь, он предложил нам пойти в «Большую Московскую гостиницу».

— Какая же теперь в 4-м часу открыта гостиница?—возразил Л. Н. Андреев.

— Это ничего не значит! Идем!

И Шаляпин свернул на Неглинный проезд.

Подошли к гостинице, она была действительно закрыта. Шаляпин нажал кнопку звонка; вход осветился; появился швейцар, который, увидев Шаляпина, сейчас же отпер дверь. Мы разделись, поднялись наверх; появился распорядитель, отвел нам кабинет. Шаляпин спросил красного вина, снял сюртук, сел за пианино и запел...

Из художников на «Средах» часто бывали: Эмилия Яковлевна Шанкс—передвижница, Василий Васильевич Переплетчиков, любивший Север и почти каждый год уезжавший туда. Он был на Новой Земле, вывез оттуда художника-самоеда

Тыку-Вылку, о котором написал брошюру, и устроил выставку его картин в Москве. Я в то время издавал журнал «Путь». Василий Васильевич уговорил меня издать брошюру с тем, чтобы деньги от продажи ее пошли Вылке; я так и сделал. Брошюра вышла в 1914 г. под заглавием: «Художник-самоед Илья Вылка. Записки о Новой Земле».

В настоящее время Тыка-Вылка состоит председателем туземного совета на Новой Земле, занимается звероловством и пишет картины.

Бывали на «Средах» Константин Константинович Первухин, Василий Дмитриевич Поленов, Владимир Илиодорович Росинский, и, кажется, однажды был Исаак Ильич Левитан. Посещал «Среды» талантливый композитор Николай Александрович Маныкин-Невструев, выпустивший в 1901 году книжку стихов «Мечты и песни». Этот талантливый человек погиб в германскую войну,—он был офицером.

В старой «Среде» зародилась мысль о товарищеском издательстве: задумали издать сборник произведений членов «Среды», и сборник этот появился в издательстве Сергея Васильевича Курнина, который и сам был причастен к литературе,—он писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни. У Курнина был небольшой книжный магазин на Кузнецком мосту.

В 1908 году я предложил членам «Среды» заняться издательством детских книг на товарищеских началах, т.-е. чтобы вся прибыль от изданий делилась как гонорар между всеми участниками сборников. Все согласились. Меня избрали редактором. Я начал собирать материал; но получилось так, что меня из редактора сделали издателем. Когда стали сдавать материал, то тот, то другой начали просить аванс. Я возражал: «Какие же вы кооператоры, если ставите меня в положение хозяина-издателя?» Но это ни к чему не привело,—так и пришлось мне быть издателем.

Издательству дано было название «Утро». Первый сборник вышел в 1909 году. В нем были помещены произведения Ив. Бунина, Н. Д. Телешева, А. Серафимовича, Н. И. Тимковского, А. М. Федорова, Скитальца, Л. Н. Андреева,—это из членов «Среды» а из приглашенных, не-членов «Среды», дали свои вещи К. С. Баранцевич, В. В. Башкин, С. Покровский; прислал музыкальную вещицу—песенку для детей на мои слова—композитор Цезарь Антонович Кюи.

Пришлось издавать и второй сборник. В него уже вошли новые лица: И. С. Шмелев, поэтесса Галфира Адольфовна Эйнерлинг, писавшая под псевдонимом Г. Галиной, Ф. Т. Гаврилов, В. И. Дмитриева, С. Д. Дрожжин, Н. А. Крашенинников—драматург, Д. М. Ратгауз, Е. И. Шведер, В. А. Смирнов.

Кроме того, этим издательством были изданы: «Избранные рассказы» Н. Н. Златовратского, «Избранные стихотворения» Ив. Бунина, «Маленький театр» и «Мягкий диван» Н. А. Попова—бывшего редактора журнала «Детский Отдых», издававшегося в Петербурге, и кроме этого, известно театрального деятеля-режиссера.

В этом же издательстве появились составленные мною сборники: «Дорогие места», «Крылатые друзья» и «Поэзия Крыма».

Все книги этого издательства были предназначены для детей и юношества, а распространение их в то время зависело от одобрения или неодобрения ученого комитета министерства народного просвещения, или «цедилки», как называл это учреждение Л. Н. Толстой.

Действительно, «процеженная» этим учреждением книга расходилась по библиотекам разных учебных заведений, а не одобренная—была запрещена для приобретения библиотеками, а потому и не имела надлежащего сбыта.

С первым сборником у меня случилась такая история: издавши первый сборник, я сейчас же отослал в ученый комитет известное количество экземпляров, для рассмотрения, и через некоторое время получил уведомление, что ученый комитет находит невозможным допустить в какие-либо учебные заведения и библиотеки при них эту

книгу; но если издатель при следующем издании выбросит из нее бессмысленную сказку Леонида Андреева «Храбрый волк», то книга может быть допущена в библиотеки учебных заведений. Когда Л. Н. Андреев прислал мне эту сказку, у меня самого явилось некоторое сомнение относительно ее содержания, да и сказка-то была написана для детей младшего возраста, а сборник составлялся мною для чтения детям старшего возраста, даже скорей для юношества.

Но меня соблазнило имя Андреева, в то время уже пользовавшееся большою известностью, и я решил сказку «Храбрый волк» напечатать в самом конце сборника в виде приложения с особым шмуцтитулом.

Впоследствии мне это очень пригодилось. Первый сборник был издан в довольно большом количестве экземпляров; благодаря неодобрению ученым комитетом, книга лежала почти без движения. Я отдал все издание на склад Д. И. Тихомирова при его журнале «Детское Чтение», и там мне посоветовали переброшировать книгу и выкинуть из нее сказку Л. Андреева, а это было легко сделать, так как сказка, как я говорил, была напечатана в самом конце. Переброшировали, сделали новую обложку, на которой напечатали второе издание, и книга снова была послана в ученый комитет,

где на этот раз ее одобрили и допустили в ученические библиотеки.

Однако все изданные мною книги не оправдали материальных издержек, так как я был совершенно неопытным издателем, и я прекратил издательство.

Оглядываясь в прошлое, видишь, какою жизнью жили «Среды». В них было одно: любовь к великому русскому языку, честное, бережливое отношение к слову, а главной основой, выражаясь высоким слогом, было товарищеское об'единение на почве любви к литературе, на благо народа. Пусть эта основа, на которой держались старые «Среды», перейдет к молодому поколению...

Когда, после подавления восстания 1905 года, начались репрессии и все пошло назад, когда все незарегистрированные собрания начали выслеживаться и закрываться административной властью, «Среды» из квартиры Н. Д. Телешева были перенесены в «Московский Литературно-Художественный Кружок», зарегистрировались как «Комиссия при московском обществе помощи литераторам и журналистам», сделались открытыми и стали называться «Молодыми Средами»; они приняли другой облик,—на них стало появляться много посторонних людей—гостей,—и они потеряли свою интим-

ность; в них уже не было товарищеского об'единения.

К этим «Молодым Средам» примкнуло несколько новых писателей, по тем или иным причинам не входившим в старую «Среду». Так появился Иван Сергеевич Шмелев. Он—москвич, по происхождению из купеческой семьи. После окончания Московского университета, служил в г. Владимире в податной инспекции. В 1906 году бросил службу, приехал в Москву и стал заниматься только литературой. Хотя Шмелев начал писать еще студентом и издал книжку «На скалах Валаама», но на нее никто не обратил внимания, и она прошла бесследно. Но с переездом в Москву, Шмелев начал серьезно заниматься литературой, и его известность, как писателя, стала быстро возрастать: он стал печатать свои рассказы в толстых журналах—в «Русской Мысли», в «Русском Богатстве»... а его повесть «Человек из ресторана», напечатанная в сборниках «Знание», поставила его имя в ряды лучших современных писателей.

Иван Сергеевич—человек нервный, с горячим темпераментом. Когда он писал какую-нибудь вещь, он весь горел и сливался со своими героями. Помню, во время писания им «Человека из ресторана», он то и дело сообщал мне о написанных главах, о проектах дальнейшего развития повести, а особенно удачные места передавал по телефону.

Когда Иван Сергеевич закончил «Человека из ресторана», он захотел прочитать эту повесть в небольшом кружке писателей. Чтение состоялось у меня на квартире; помню, на чтение были приглашены Н. И. Тимковский, А. Серафимович, С. С. Мамонтов, Л. А. Хитрово и др.

Тимковский говорил, что «Человек из ресторана»—вещь подражательная и что такого рода типы уже описаны Михаилом Провичем Садовским. А. Серафимович и другие были иного мнения и признавали за повестью большие достоинства—и они были правы.

Вспоминается мне, как мы гостили у С. Д. Дрожжина, в деревне Низовке. Сидим у него в избе за чаем, мирно беседуем, вдруг слышим на улице шум,—оказалось, какой-то деревенский мальчик, купаясь, утонул в Волге. Шмелев побежал спасать, и он приложил все свои знания в области медицины, спасая ребенка.

Еще случай. Жили мы с Шмелевым на даче в Оболенском, на 105 версте по Брянской ж. д., около Малоярославца. В парке, где были расположены дачи, на деревьях было много грачиных гнезд. Грачи временами поднимали такой нестерпимый крик, что дачники заявили владельцу дач, чтобы он уничтожил грачиные гнезда, так как от грачиного крика им нет никакого покоя.

Узнав об этом, Шмелев возмутился, стал ходить по дачникам и произносить горячие речи в защиту грачей и отстоял их.

Эту дачную местность рекомендовал мне артист Малого театра Иван Федорович Красовский, уже несколько лет живший в Оболенском на даче,—и я нанял там дачу.

Как местность, Оболенское, действительно, удовлетворяло всем требованиям дачной жизни: дачи были расположены в полутораверстном расстоянии от станции, в старом тенистом парке, лес и река Протва были под боком. Дач было немного. Их занимали И. Ф. Красовский и Сергей Иванович Гречушкин, педагог; одно время там проживал Николай Григорьевич Бажанов—директор реального училища, бывшего Фидлера, в Лобковском переулке у Чистых прудов. В этом училище в 1905 году происходили нелегальные собрания, и оно было разгромлено войсками.

Все эти три лица были страстными рыболовами, а река Протва и приток ее Лужа славились рыбой: рыболовы вылавливали буквально пудами лещей, щук и судаков. Такой рыбной ловлей И. Ф. Красовский соблазнил и известного артиста Малого театра Константина Николаевича Рыбакова, который нанял дачу в Оболенском. Приехавши туда, Рыбаков, никогда не бывший рыболовом, сделался им,—он приобрел себе лодку, накупил самых лучших заграничных рыболовных снастей и нанял человека, который бы специально помогал ему при рыбной ловле.

Константин Николаевич был человек грузный, малоподвижный, вставать на заре, как это делали настоящие рыболовы, он не мог и выезжал на рыбную ловлю довольно поздно. Его сборы были довольно оригинальны: специальный человек с утра чистил лодку, постилал на сиденье коврик, приготовлял удочки, копал червей для насадки. Константин Николаевич выходил, важно садился в лодку и ехал по реке, выбирая удобные для ловли рыбы места. Человек насаживал ему червей на крючки и снимал пойманную рыбу.

Однажды я сидел на берегу Протвы, а неподалеку от меня Константин Николаевич ловил с лодки. Вдруг он задергал удилище,—оно изогнулось: видимо, попалась крупная рыба, и я крикнул с берега:

— Константин Николаевич, что это вам попалось, не лабардан ли?

В это время Рыбаков с трудом поднял удилище, и у него на крючке оказалась довольно толстая ветка.

Константин Николаевич был сконфужен и принял мой намек за насмешку.

— А вы знаете ли, что такое лабардан-то?—спросил он меня.

Я сказал, что не знаю, но помню, что у Гоголя в «Ревизоре» упоминается это слово.

— То-то и есть, а говорите! Лабардан — это молодая треска!—наставительно пояснил Константин Николаевич.

Когда я поселился в Оболенском и Шмелев приехал ко мне в гости, ему понравилось Оболенское. В то время нашлась одна свободная дачка, он ее нанял и пристрастился к рыбной ловле. Но настоящим рыболовом он не был, а любил, так же, как и я, вечерком, перед закатом солнца посидеть на берегу с удочками, помечтать, а мечты его были только о рыбе,—он все ждал, что вот на его удочку попадется большая рыба; в этом у него была даже уверенность, потому-то он и носил всегда с собой подсачик; но крупная рыба ему не попадалась, а насадку брали окуньки, плотва да ерши.

Крупную рыбу, головлей и щук, носили продавать местные крестьяне.

Я помню, однажды сидели мы на терраске дачи Шмелева,—в то время приехал к нам Илья Львович Толстой,—подходит мужичек и предлагает купить десяток крупных головлей.

— Откуда ты их взял?—спросил Шмелев.

— Откуда,—знамо из речки!..

— Да ведь в Протве запрещено ловить рыбу сетями!

Шмелев знал, что в окрестностях Оболенского рыбная ловля хищническим способом была запрещена.

— А мы с приятелем ходим. Он, значит, нырнет, опустится на дно, поймает там рыбу, придушит ее и выпустит, а как она на верх всплывет, я ее и подбираю; мы не сетями...—об'яснил мужик. Конечно, он знал, что все это выдумки, но, рассказывая нам небылицу, наверное, думал: все равно господа ничего не понимают.

Но Шмелев отлично знал, что рыба ловилась сетями, и что мужик из нас «дураков валяет».

— А змеи у вас водятся?—спросил Шмелев. Он очень любил разговаривать с мужиками, тонко понимая их.

— Змеи-то? Есть, да еще какие! Намедни я ехал с возом, а поперек дороги лежит вот какая змея,—переехать не мог...—фантазировал мужик, уверенный в том, что его рассказ будет принят господами за правду.

В Оболенском мы жили в 1914 году. К середине лета начали ходить слухи о подготовлявшейся русско-германской войне. У моста через Протву поставили караул, в народе появились разные приметы о предстоящей войне: то куры начали петь петухами, то крест с колокольни свалился.

Иван Сергеевич жадно ловил эти слухи, ходил по деревням, прислушивался, сам заводил разго-

вор, и после изобразил свои наблюдения в очерке «В суровые дни».

Как-то Шмелев жил на даче в Мазилове, около Кунцева. Дачка у него была крохотная, и при ней такой же крохотный палисадничек—не больше 3—4 квадратных саженей; но в этом «саду» он насадил самых разнообразных цветов и все по одному, по два экземпляра каждого сорта.

Когда я приехал к нему в гости и он повел меня показывать свой «сад», то при входе в калитку предупредил меня:

— Вот тут проходите поосторожней: около самого входа вырос замечательный цветок, но кто-то сломал его. Я ему сделал перевязку,—может быть, оживет...

Революция застала Шмелева в Крыму, откуда он долгое время не мог вырваться. Там он пережил тяжелое горе,—у него погиб сын.

Когда, после Крыма, Шмелев вернулся в Москву я едва узнал его при встрече: вместо живого, подвижного и всегда бодрого, я встретил согнутого седого, с отросшей бородой, разбитого человека. В Москве он несколько поправился, но страшно тосковал, что не может писать. «А писать хочется и есть о чем: сложилась повесть — «Черный Спас»!..—говорил Шмелев. В 1923 году он уехал за границу, в Берлин.

И страшно подумать, чтобы такой человек, как Шмелев, воспитанный в укладе русской жизни, в русской природе, любящий русский народ, мог жить вдали от того, что составляет его нутро.

Мы мало слышим о том, как живут наши зарубежные писатели. Я стороной слышал о Шмелеве, что он в последнее время впал в мистицизм,—да оно понятно, почему....

Другой заметный член «Молодой Среды» Сергей Саввич Мамонтов,—сын известного Саввы Ивановича Мамонтова,—был типичным москвичем. Трудно описать все примеры, подтверждающие это определение, но москвич в нем был виден во всем укладе его жизни,—в его взглядах, в общественности. И как писатель он представлял собой тип москвича, в отличие от петербургских писателей,—немного славянофил, любитель старой цыганской песни, московского театра, возглавляемого Малым театром, живописи, музыки. Мамонтов во всей московской жизни любил ширину, размашистость...

В его квартире нередко собирались настоящие знатоки и любители старой цыганской песни, теперь уже исчезающей и отходящей в область преданий.

Еще с того времени, когда отец его Савва Иванович был в полном блеске своей славы московского мецената, у Сергея Саввича сохранились связи с первостепенными представителями пера.

кисти, резца и сцены. Это можно подтвердить перечнем таких известных имен, как Илья Ефимович Репин, Валентин Александрович Серов, Василий Иванович Суриков, Василий Дмитриевич Поленов, братья Васнецовы, Врубель, Антокольский и др.; из писателей и артистов—Федор Иванович Шаляпин, Пров Михайлович Садовский и вся писательская «Среда».

После краха «мамонтовской» эпопеи, Сергей Саввич, оставшись со скромными средствами, жил литературным трудом,—писал рассказы, газетные статьи, сотрудничая преимущественно в «Русском Слове»; некоторые его пьесы шли на сцене Малого театра.

Незадолго до смерти Сергей Саввич приобрел себе клочек земли около исторического Аксаковского «Абрамцева», с большим вкусом построил себе небольшую дачку и жил в ней по летам. Туда приезжали многие его друзья: Шаляпин, Златовратский, Шмелев, из артистов,—П. М. Садовский, Владимир Федорович Лебедев и многие другие.

Однажды мы с И. С. Шмелевым были в «Яснушке»,—так называлась дачка Мамонтова,—зимой в именины Варвары Аполлоновны—жены Сергея Саввича,—дачка была натоплена, приготовлен обед, после которого мы катались с горы, а вечер провели в беседе и пении (жена Сергея Саввича—певица).

Еще вспоминается мне один теплый летний вечер в Яснушке. После прогулки на лодке по реке Вори,—той самой Вори, на которой Сергей Тимофеевич Аксаков любил посидеть с удочками за рыбной ловлей, мы вернулись домой и сели за ранний деревенский ужин на терраске дачи. Вид с терраски чудесный: прямо за рекой—мирные абрамцевские поля, чуть-чуть подернутые вечерней дымкой; от мостика через речку Яснушку немного в гору поднимается дорога к Абрамцеву, обсаженная старыми березами.

Сидим, беседуем и вдруг слышим ямщицкий колокольчик и бубенцы. Мы стали вглядываться вдаль. Звуки, колеблясь, приближались к нам, и скоро по спуску дороги из-за старых придорожных берез показалась ямщицкая тройка.

Сергей Саввич сейчас же узнал:

— Это Шаляпин едет...

И действительно, видим,—в коляске привстала крупная фигура Шаляпина,—он машет шляпой и что-то кричит.

Вот уже тройка у террасы.

— К тебе, брат, приехали!—слышится звучный голос Шаляпина.

Федор Иванович приехал вместе с архитектором Василием Сергеевичем Кузнецовым. Они ездили осматривать имение на Волге, около Плеса, которое задумал купить Шаляпин. Потом он нам рас-

вор, и после изобразил свои наблюдения в очерке «В суровые дни».

Как-то Шмелев жил на даче в Мазилове, около Кунцева. Дачка у него была крохотная, и при ней такой же крохотный палисадничек—не больше 3—4 квадратных саженей; но в этом «саду» он насадил самых разнообразных цветов и все по одному, по два экземпляра каждого сорта.

Когда я приехал к нему в гости и он повел меня показывать свой «сад», то при входе в калитку предупредил меня:

— Вот тут проходите поосторожней: около самого входа вырос замечательный цветок, но кто-то сломал его. Я ему сделал перевязку,—может быть, оживет...

Революция застала Шмелева в Крыму, откуда он долгое время не мог вырваться. Там он пережил тяжелое горе,—у него погиб сын.

Когда, после Крыма, Шмелев вернулся в Москву я едва узнал его при встрече: вместо живого, подвижного и всегда бодрого, я встретил согнутого, седого, с отросшей бородой, разбитого человека. В Москве он несколько поправился, но страшно тосковал, что не может писать. «А писать хочется и есть о чем: сложилась повесть — «Черный Спас»!..—говорил Шмелев. В 1923 году он уехал за границу, в Берлин.

И страшно подумать, чтобы такой человек, как Шмелев, воспитанный в укладе русской жизни, в русской природе, любящий русский народ, мог жить вдали от того, что составляет его нутро.

Мы мало слышим о том, как живут наши зарубежные писатели. Я стороной слышал о Шмелеве, что он в последнее время впал в мистицизм,—да оно понятно, почему...

Другой заметный член «Молодой Среды» Сергей Саввич Мамонтов,—сын известного Саввы Ивановича Мамонтова,—был типичным москвичем. Трудно описать все примеры, подтверждающие это определение, но москвич в нем был виден во всем укладе его жизни,—в его взглядах, в общественности. И как писатель он представлял собой тип москвича, в отличие от петербургских писателей,—немного славянофил, любитель старой цыганской песни, московского театра, возглавляемого Малым театром, живописи, музыки. Мамонтов во всей московской жизни любил ширину, размашистость...

В его квартире нередко собирались настоящие знатоки и любители старой цыганской песни, теперь уже исчезающей и отходящей в область преданий.

Еще с того времени, когда отец его Савва Иванович был в полном блеске своей славы московского мецената, у Сергея Саввича сохранились связи с первостепенными представителями пера.

кисти, резца и сцены. Это можно подтвердить перечнем таких известных имен, как Илья Ефимович Репин, Валентин Александрович Серов, Василий Иванович Суриков, Василий Дмитриевич Поленов, братья Васнецовы, Врубель, Антокольский и др.; из писателей и артистов—Федор Иванович Шаляпин, Пров Михайлович Садовский и вся писательская «Среда».

После краха «мамонтовской» эпопеи, Сергей Саввич, оставшись со скромными средствами, жил литературным трудом,—писал рассказы, газетные статьи, сотрудничая преимущественно в «Русском Слове»; некоторые его пьесы шли на сцене Малого театра.

Незадолго до смерти Сергей Саввич приобрел себе клочек земли около исторического Аксаковского «Абрамцева», с большим вкусом построил себе небольшую дачку и жил в ней по летам. Туда приезжали многие его друзья: Шаляпин, Златовратский, Шмелев, из артистов,—П. М. Садовский, Владимир Федорович Лебедев и многие другие.

Однажды мы с И. С. Шмелевым были в «Яснушке»,—так называлась дачка Мамонтова,—зимой в именины Варвары Аполлоновны—жены Сергея Саввича,—дачка была натоплена, приготовлен обед, после которого мы катались с горы, а вечер провели в беседе и пении (жена Сергея Саввича—певица).

Еще вспоминается мне один теплый летний вечер в Яснушке. После прогулки на лодке по реке Вори,—той самой Вори, на которой Сергей Тимофеевич Аксаков любил посидеть с удочками за рыбной ловлей, мы вернулись домой и сели за ранний деревенский ужин на тераске дачи. Вид с терраски чудесный: прямо за рекой—мирные абрамцевские поля, чуть-чуть подернутые вечерней дымкой; от мостика через речку Яснушку немного в гору поднимается дорога к Абрамцеву, обсаженная старыми березами.

Сидим, беседуем и вдруг слышим ямщицкий колокольчик и бубенцы. Мы стали вглядываться вдаль. Звуки, колеблясь, приближались к нам, и скоро по спуску дороги из-за старых придорожных берез показалась ямщицкая тройка.

Сергей Саввич сейчас же узнал:

— Это Шаляпин едет...

И действительно, видим,—в коляске привстала крупная фигура Шаляпина,—он машет шляпой и что-то кричит.

Вот уже тройка у террасы.

— К тебе, брат, приехали!—слышится звучный голос Шаляпина.

Федор Иванович приехал вместе с архитектором Василием Сергеевичем Кузнецовым. Они ездили осматривать имение на Волге, около Плеса, которое задумал купить Шаляпин. Потом он нам рас-

сказывал, что мечтает построить там дачу ввиде боярского дома XVI века.

Кузнецов рассказывал, как они попали сюда: осмотрели имение и вздумали проехаться в Яснушку. До станции железной дороги шли несколько верст пешком; по дороге попадались крестьянские покосы; Федор Иванович принимал участие в работе,—навивал вилами сено на воза и с хором пел песни. Одна баба даже заплакала,—до того ее тронуло пение Шаляпина.

Узнали о приезде Шаляпина в Абрамцеве и приехали в Яснушку старики,—Савва Иванович и его гости. Посидели, потолковали и уехали. Шаляпин при них был сдержан, вел деловой разговор, а как уехали,—у него появилась балалайка, и полились песни одна за другой.

Абрамцевские поля и леса в тот вечер слышали такие задушевные мелодии русских песен, непринужденно исполненные вдохновенным певцом, каких им, может быть, больше никогда не придется услышать.

На другой день утром, выкупавшись в Воре, мы пешком отправились на станцию Хотьково, чтобы ехать в Москву.

В русско-германскую войну Сергей Саввич, как бывший офицер, был призван в действующую армию, где и погиб в Галиции от тифа. Тело его

было перевезено в Москву и похоронено на Братском кладбище.

Кстати сказать, Сергей Саввич Мамонтов как бы поддерживал традиции старого Аксаковского Абрамцева, как и отец его Савва Иванович, собирая у себя в Яснушке людей искусства—писателей, художников. Так было и при С. Т. Аксакове: в Абрамцево к старику Аксакову с'езжались писатели, артисты, бывал нередко Михаил Семенович Щепкин, Алексей Степанович Хомяков, гостил Николай Васильевич Гоголь; в Абрамцеве сохранилась комната, в которой он жил. При моем посещении Абрамцева, я обратил внимание на прикрепленный к стене рисунок странного гриба, уродливого, как будто один гриб вырос на другом. С. С. Мамонтов мне об'яснил, что это собственноручный рисунок Гоголя: он, как-то гуляя по абрамцевскому лесу, нашел странный, уродливый гриб, принес его к себе в комнату и срисовал его.

Мне этот рисунок Гоголя об'яснил характерную черту в творчестве Гоголя: известно, что Гоголь еще в юности любил все уродливое в природе,—он очень интересовался уродливыми формами картофеля, моркови и других растений; эта любовь сказывалась и в его произведениях,—ведь бессмертные типы людей, созданные им, разве не уродливые явления?

С самого начала «Молодых Сред» на них появились несколько заметных лиц: Николай Григорьевич Шкляр,— первый застрельщик - критик прочитанного на «Средах»; он писал рассказы, пьесы, но в последнее время оставил литературу; Аполлинарий Михайлович Васнецов—известный художник, не чуждый литературе и не раз читавший свои произведения на «Средах»; Михаил Петрович Гальперин—поэт, приехавший из Киева, выпустивший книгу стихов «Мерцания»; он отличался тем, что после «Сред» читал протоколы в стихах, написанные тут же на собраниях; Ада Артемьевна Чумаченко—поэтесса, написавшая несколько удачных пьес для детского театра; Дмитрий Яковлевич Голубев—человек глубоко преданный литературе, хотя сам очень мало писавший; Петр Николаевич Петровский—поэт-переводчик иностранных поэтов; Арсений Николаевич Бибиков, по профессии—артист, близкий друг братьев Буниных, также писавший стихи; Екатерина Михайловна Эк (Курч), Осип Александрович Израэльсон—Волжанин—и писатель, примыкающий к народникам, Семен Дмитриевич Фомин, по происхождению из крестьян. Его книжка стихов «Песни радости и печали» вышла с предисловием Николая Александровича Рубакина; вторая книжка стихов «Свирель» вышла в 1920 году; кроме того, Фоминым изданы 2 книжки рассказов: «Земная

зыбь» и «Рассвет», сборник крестьянских рассказов.

Проездом через Москву, бывал на собраниях «Сред» беллетрист Александр Абрамович Кипен, проживавший большею частью на Юге, где занимался агрономией. Он выпустил книгу своих рассказов «Бирючий остров» в издании «Знание».

Кипен был дружен с Л. Н. Андреевым, который всегда беспокоился, когда долго не видал его. Вот отрывок из письма Андреева от 25 марта 1918 года, в котором он спрашивает меня о Кипене:

«Не имеешь ли каких-нибудь вестей о Кипене?— Пропал курносый. По одним слухам, он в качестве ценной добычи, в Одессе достался немцам, по другим—быстро бежал в неизвестном направлении. Может быть, слышал что?»

Примыкал к «Средам» и критик Абрам Борисович Дерман.

Нередко посещал «Молодые Среды» Петр Семенович Коган—известный историк литературы, нынешний президент Академии Художественных Наук; читали свои произведения Алексей Николаевич Толстой, Иван Алексеевич Новиков, Лев Николаевич Зилов, Андрей Соболь.

С Андреем Соболем я познакомился в первые годы революции, когда он вернулся в Россию из эмиграции. В России он судился по политическому делу и был сослан на каторгу. Это был удивительно

мягкий, чуткий и впечатлительный человек. Вспоминаю, как я встретился с ним в «Всероссийском Союзе Писателей», когда получилось известие о смерти Сергея Есенина и было созвано экстренное собрание правления. Узнав о смерти Есенина, Соболь выбежал из залы собрания, сел на подоконник в коридоре и зарыдал. Вскоре и сам он покончил с собой, застрелившись на Тверском бульваре. Похоронен он на новом кладбище Ново-Девичьего монастыря. На его могиле «Всероссийским Союзом Писателей» поставлен памятник в виде гранитной плиты. После смерти А. Соболя мне случайно пришлось увидать в альбоме моего знакомого И. В. Репина стихотворение А. Соболя, который, как мне известно, никогда не писал стихов. Да это видно и из надписи в альбоме перед стихотворением. Привожу целиком написанное А. Соболем в альбоме:

Первое и последнее мое стихотворение.

Где-то люди светлым оком
Видят радостные дни,
Где-то знают в недалеком
Путеводные огни.
Знают песни, счастье боя,
Знают, к счастью как дойти.
Мы устали, ждем покоя,
Раз упали—нет пути!..

Москва. 26 ноября, 1917 г.

В об'единение «Молодой Среды» вошла целая группа молодых писателей, имена которых и теперь появляются на страницах современных журналов и газет: Борис Андреевич Пильняк-Вогау; я с ним познакомился в 1917 году, в дачной местности «Песках», близ г. Коломны, где отец его был ветеринарным врачем; Алексей Иванович Окулов-Сибиряк, прекрасный человек и талантливый писатель, появившийся в Москве в первые годы революции; он долгое время был эмигрантом; Владимир Германович Лидин; Юрий Васильевич Соболев, составивший несколько книг по Чехову и в последнее время много писавший по театру; Николай Никандрович Никандров — беллетрист; Алексей Силыч Новиков-Прибой—известный своими рассказами из быта моряков; Павел Сергеевич Сухотин—поэт и драматург; Николай Николаевич Ляшко-Лященко; Александр Александрович Тришатов-Добровольский; Николай Сергеевич Ашукин; Николай Михайлович Мешков, выпустивший две книги своих стихов; Петр Никанорович Зайцев — поэт; Александр Степанович Яковлев, ставший известным своими рассказами из первых лет революции; Павел Георгиевич Низовой-Тупиков; Арсений Альвинг—поэт; Н. Ф. Бернер и многие другие.

Часть этих писателей группировалась и принимала участие в альманахах «Сполохи», издававшихся Владимиром Павловичем Ютановым. Альманахи из-

давались несколько лет и об'единяли молодых писателей.

Многие из перечисленных писателей в свое время—до революции—входили и в другие московские литературные организации, как, например, в «Московский Литературно-Художественный Кружок», в «Общество периодической печати и литературы», в «Кассу взаимопомощи литераторов и ученых».

Вспоминая этих тогда молодых, только-что вступающих на литературный путь писателей и следя за их теперешним развитием и положением, поневоле приходишь к «горестным заметам»...

Но об этом говорить теперь не стоит, потому что многие из них, в развитии своего таланта и в характере остались прежними,—не изменили товарищеских отношений друг с другом и так же серьезно, без мелочей и личных выгод относятся к литературе.

«Литературно-Художественный Кружок» об'единял не только одни литературные силы Москвы, но и всех людей искусства, науки и общественных деятелей.

Основался Кружок в 1898 г. группою, во главе которой стояли большею частью артисты Малого и других театров, а так же и театральные деятели. Вот список первых учредителей Кружка: Александр Иванович Южин-Сумбатов, Мария Николаевна Ермолова, Гликерия Николаевна Федотова, Ольга Осиповна Садовская, Надежда Алексеевна Никулина, Константин Николаевич Рыбаков, Осип Андреевич Правдин, Александра Александровна Яблочкина, Федор Адамович Корш, Константин Сергеевич Станиславский-Алексеев, Антон Иванович Барцал, Эмилий Эмильевич Матерн, Николай Ефимович Эфрос; а из писателей, ученых и общественных деятелей: Антон Павлович Чехов, Петр Дмитриевич Боборыкин, Лев Михайлович Лопатин, Николай Васильевич Глоба и Савва Иванович Мамонтов.

Сначала Кружок занял небольшое помещение на Воздвиженке. Там собрания носили чисто семейный характер, и было просто, все чувствовали себя, как дома,—кто играл в преферанс, в шахматы или на бильярде, кто сидел в небольшой читальне, или беседовал в буфете, помещавшемся в подвале.

В верхнем зале стоял рояль. Бывало придет из театра Леонид Витальевич Собинов, начнут просить его спеть что-нибудь, найдется аккомпаниатор—и Собинов поет; появится в Москве известный пианист, скрипач, заглянет в Кружок, и их попросят сыграть.

Главным инициатором создания Кружка и первым председателем его дирекции был А. И. Южин-Сумбатов.

Впоследствии Кружок, расширяясь, несколько раз менял помещение, и в последнее время занимал огромный особняк Востряковых на Большой Дмитровке. Деятельность Кружка развилась в широких размерах, он имел одну из лучших библиотек в Москве, приобрел картины известных художников; так на стенах Кружка висели лучшие работы В. А. Серова—портреты Ф. И. Шаляпина, М. Н. Ермоловой, Г. Н. Федотовой, А. И. Южина и А. П. Ленского; «Старая Москва» А. М. Васнецова и многих других, в том числе картина «Л. Н. Толстой» И. Е. Репина.

Кружок основал фонд имени А. П. Чехова, для пособия нуждающимся писателям, артистам, художникам и ученым. Ежегодно в этот фонд отчислялось несколько тысяч рублей, которые шли на помощь не только тем, кто обращался за помощью лично, но и сама комиссия следила—кому нужно было помочь. Так было оказано пособие больному поэту Семену Григорьевичу Фругу, украинскому писателю Борису Дмитриевичу Гринченко, писавшему под псевдонимом «Василь Чайченко». Я был с ним знаком как переводчик его стихов, и сам отвозил назначенное ему на лечение пособие. Гринченко жил на даче около Киева в деревне Будаевке. Помню, он ни за что не хотел брать пособия, говоря, что есть нуждающиеся более его. Тогда я посоветовался с известным украинским

публицистом Сергеем Александровичем Ефремовым, как сделать, чтобы Гринченко принял пособие, и придумали такой способ: Ефремов должен был заказать Гринченко какую-то литературную работу и дать за нее аванс,—таким способом пособие было вручено умирающему поэту, хотя было ясно, что дни его сочтены и исполнения какой-либо работы от него ожидать было нечего.

Да и сам Гринченко это чувствовал,—он в беседе со мной много говорил о Пушкине и прочитал мне свой перевод на украинский язык «Стансов» Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

— Много лет я собирался перевести это стихотворение и никак не мог, а теперь вот удалось,—сказал Гринченко, и с большим чувством прочитал мне свой перевод. Видно, близость смерти дала ему возможность прочувствовать это стихотворение.

Вскоре Гринченко был отправлен в Италию и там умер от туберкулеза.

Тело его было перевезено в Киев и похоронено на Байковском кладбище.

Гринченко был видным украинским деятелем, как поэт, драматург, беллетрист, этнограф и педагог; при жизни он преследовался правительством и несколько раз сидел в тюрьмах.

В Кружке устраивались лекции и диспуты на литературные и общественные темы; ставились спек-

такли, в которых в ролях актеров выступали литераторы,—так были поставлены «Власть тьмы» Толстого и «Ревизор» Гоголя. В последней пьесе все роли исполнялись литераторами, и только городничего играл артист Малого театра Николай Михайлович Падарин.

Помню, мне пришлось играть роль одного из купцов. Я, никогда не выступавший на сцене, чувствовал себя страшно стесненным, а когда на мои реплики на меня набросился городничий, я до того испугался, что совсем забыл, что нахожусь на сцене.

Как-то к гоголевским дням ставили живую картину: «Гоголь читает свои произведения перед Пушкиным и М. С. Щепкиным». Гоголя изображал я, Пушкина музыкант Г. С. Макриди, а Щепкина—артист Малого театра Иван Федорович Красовский. Ставил картину Осип Андреевич Правдин. Помню, он принес для меня свой халат из шелковой цветной материи и говорил, что у Гоголя был такой точно халат, и просил меня как можно осторожнее обращаться с ним и не запачкать его при гримировке.

На Рождестве устраивались елки с прекрасными подарками для детей; организовывались юбилейные чествования выдающихся деятелей искусства и науки; выдавались стипендии учащимся.

Все известные литераторы, певцы, музыканты, не только русские, но и всемирно-известные из других стран, приезжая в Москву, считали своим долгом выступить в Кружке с концертом или лекцией. Так, были музыканты Дебюсси, Ян Кубелик, а из литераторов Эмиль Верхарн, король французских поэтов Поль Фор и многие другие.

В честь Верхарна был устроен ужин.

Верхарн—небольшого роста, живой, подвижной—быстро проходил по залам Кружка, интересуясь всем,—картинами, библиотекой; особенно ему понравился переплет «Золотой книги», в которую вносили свои автографы все знатные посетители.

Очень жаль, что эта книга пропала, как пропало и собрание автографов—писем писателей, а в этом собрании были письма Карамзина, Островского, Никитина, Марии Конопницкой и многих других русских и иностранных писателей.

К ужину Верхарн приехал со своей женой—пожилой, скромно одетой в черное платье. Угощая гостей, один из директоров Кружка предложил жене Верхарна испробовать нашего национального напитка, и налил ей рюмку водки; она глотнула, закрыла глаза и, едва переводя дух, могла произнести только: «О-о-о!» и махнула рукой.

Сам Верхарн пил только красное вино.

На другой день Верхарн читал лекцию на французском языке в зрительном зале Кружка; зал был переполнен публикой.

В январе 1913 года в Москву приехал известный грузинский поэт Акакий Ростомович Церетели; по случаю его приезда грузинской колонией в Кружке был устроен банкет. В зале-столовой были накрыты столы. Собралось очень много почитателей старого поэта. Главным распорядителем банкета был А. И. Южин.

Случайно в Кружок приехал П. Д. Боборыкин.

— Кого это чествуют?—спросил он меня.

Я сказал:

— Поэта Грузии, Церетели.

— Незнаком я с ним; и вообще мало знаю грузинскую литературу,—заметил Петр Дмитриевич.

Дожидаясь приезда Церетели в нижних комнатах Кружка, мы разговорились с Петром Дмитриевичем. В разговоре я спросил его, будут ли напечатаны его воспоминания о Некрасове, которые он сообщал на собрании литераторов в Юридическом обществе?

— То, что я говорил,—ответил Петр Дмитриевич,—конечно, не будет напечатано, если никто не записывал за мной,—я говорил без подготовки,—но у меня есть кое-что напечатанное о нем; я Некрасова знал в молодые годы, и это яснее сохранилось в памяти.

— А вы, когда пишете, диктуете?—спросил я.

— Нет, не диктую, а пишу сам черновики карандашом, а после читаю свою рукопись переписчице, которая вот уже 20 лет у меня работает... Только вот какая история бывает: напишешь что-нибудь, отложишь на несколько дней, станешь читать и сам не разберешь, что написал, но переписчица у меня опытная,—она лучше меня мою рукопись разбирает.

Когда приехал Церетели и начался ужин, Петр Дмитриевич поднялся наверх; там встретил его А. И. Южин и пригласил познакомиться с грузинским поэтом.

Появление Боборыкина вызвало общую овацию. Петр Дмитриевич немного смутился, произнес речь, в которой сказал, что очень рад познакомиться с поэтом Грузии—ровесником по возрасту, хотя Боборыкин был старше Церетели: ему было 77 лет, а Церетели 73 года.

Ровно через два года после посещения Москвы Церетели умер в местечке Сачхери Кутаисской губ. 24 января 1915 года.

Нередко в Кружке можно было встретить известного армянского поэта Александра Иосифовича Цатуриана, жившего в Москве и умершего в 1917 г.

Дирекция Кружка избиралась ежегодно. В состав ее входили известные писатели, артисты, художники, музыканты и общественные деятели. Вот при-

близительный список имен бывших директоров: Из артистов московских театров—А. И. Южин, К. Н. Рыбаков, О. А. Правдин, А. А. Федотов, А. П. Ленский, Н. К. Яковлев, Н. М. Падарин, И. А. Рыжов, И. Ф. Красовский, Г. С. Бурджалов. Из писателей: В. Я. Брюсов, Иван Иванович Попов, приехавший из Сибири, где он издавал газету «Восточное Обозрение»,—публицист, автор воспоминаний «Минувшее и пережитое», вышедших в нескольких томах; он принимал большое участие в делах Кружка и был товарищем председателя дирекции, работая вместе с В. Я. Брюсовым; вторым товарищем председателя был одно время Н. Д. Телешев, потом я. В состав дирекции входили: Викентий Викентьевич Вересаев, Николай Иванович Тимковский и брат его Дмитрий Иванович, Владимир Владимирович Каллаш, Юлий Алексеевич Бунин, Сергей Саввич Мамонтов, Николай Ефимович Эфрос; из профессоров: Алексей Евгеньевич Грузинский, Сергей Константинович Шамбинаго; из художников: Василий Васильевич Переплетчиков, Аполлинарий Михайлович Васнецов, Сергей Арсеньевич Виноградов; из композиторов: Сергей Никифорович Василенко, Александр Александрович Ильинский; из врачей: Николай Николаевич Баженов, Федор Егорович Рыбаков, Степан Павлович Галицкий—главный доктор б. Сокольнической, теперь его имени больницы. Между прочим, жена

С. П. Галицкого—Евгения Александровна—была не чужда литературы и помещала свои произведения большею частью в женских журналах.

Всех этих поименованных лиц почти каждый день можно было видеть в Кружке. В большой белой столовой с одной стороны стол всегда занимался известной группой. Тут Владимир Александрович Михайловский—бывший инспектор театрального училища, а впоследствии хранитель театрального музея Алексея Александровича Бахрушина. Появлялся и сам А. А. Бахрушин с какого-нибудь бенефиса или премьеры и привозил все театральные новости. Усаживался Антон Иванович Барцал—тенор Большого театра, прослуживший в нем много лет. Приходил Алексей Михайлович Кондратьев—один из старейших режиссеров Малого театра, неутомимый рассказчик театральных анекдотов; с ними С. П. Галицкий.

Ровно в 12 часов ночи появлялся Лев Михайлович Лопатин—и стол оживлялся: Лев Михайлович, спросив полбутылки красного вина, начинал свои интересные рассказы о таинственных явлениях,—о московских домах, в которых совершались разные истории с привидениями.

С другой стороны столовой—стол писателей. В начале вечера за ним можно было встретить двух-трех писателей, а к концу вечера стол был пере-

полнен. Шли толки о литературе, сообщались все новости литературного мира. А после полуночи появлялись газетные работники, выпускавшие номера газет; от них можно было узнать все злободневные газетные новости.

В разных углах столовой—разные группировки: тут группа «Весов» во главе с Сергеем Александровичем Поляковым—издателем журнала «Весы»; с ними Сергей Алексеевич Соколов-Кречетов—поэт, стоявший во главе издательства «Гриф», Юргис Казимирович Бальтрушайтис—ныне литовский посланник в Москве. Изредка заглядывал Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев), А. М. Кожебаткин—издатель, а с ними В. Я. Брюсов.

В стороне еще группа музыкантов-композиторов, под председательством Юрия Сергеевича Сахновского. Крупная фигура его плотно усаживалась за стол на весь вечер, изредка покидая его для того, чтобы спуститься вниз—в бильярдную, где постоянно можно было встретить непобедимого игрока Михаила Петровича Арцыбашева.

Кружок являлся центром всей литературной, художественной и научной жизни Москвы. В Кружке встречались и знакомились друг с другом люди самых разнообразных отраслей искусства; организовывались кружки, общества,—так образовалось «Общество свободной эстетики» во главе с В. Я.

Брюсовым. В стенах Кружка находили себе приют много и других обществ.

Упомянув об А. А. Бахрушине, следует сказать несколько слов о его музее. Все, что касалось театра, Алексей Александрович с давних пор с большой любовью и знанием собирал и создал такой театральный музей, равного которому, пожалуй, и в Европе не найдется.

Кроме предметов, относящихся к театру, Алексей Александрович собирал и литературные материалы, и из них образовался особый музей, в котором находятся такие редкостные вещи, как, например:

1) автографы Пушкина и Лермонтова;

2) театральные пьесы Н. А. Некрасова;

3) рукопись-автограф «Соборян» Н. С. Лескова, носившая первоначальное название «Божедомы»;

4) рукопись-автограф Н. Ф. Щербины;

5) гранки пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» с пометками автора;

6) автографы-рукописи Л. Н. Андреева, М. Горького, С. А. Найденова, П. Д. Боборыкина, Шпажинского и многих других.

Есть в музее несколько старинных альбомов. Из них выделяются: альбом С. Д. Пономаревой с автографами—Пушкина, Крылова, Гнедича, Кюхельбекера и других писателей пушкинской плеяды; другой альбом—А. Н. Верстовской, жены ком-

позитора, автора «Аскольдовой могилы»,—с письмами: Пушкина, Грибоедова, Жуковского, Загоскина, Шаховского, Глинки, Львова и с автографами многих других современников Верстовского.

Интересен альбом Шелгуновой с автографами Огарева, Герцена, М. И. Михайлова, Лаврова. Есть альбомы с сотнями автографов всех известных музыкантов и певцов. Кроме того, отдельно имеются рисунки Гоголя, Пушкина, Лермонтова и автографы Достоевского, Сумарокова, Державина, Гоголя, Хераскова, Крылова, Тютчева, Тургенева, Полонского, Фета, Островского и иностранных писателей: Шиллера, Вольтера и Гете; маски—Пушкина, Гоголя и Белинского.

В настоящее время музей является государственным и носит название «Театральный музей имени А. А. Бахрушина», заведующим которого состоит Алексей Александрович, а хранителем музея и заместителем заведующего—Михаил Данилович Прыгунов—большой знаток и любитель театрального дела и литературы.

За весь период существования Кружка мне пришлось встретиться со многими интересными людьми. Так, в 1912 году я познакомился с Никандром Александровичем Марксом; он в то время был в чине генерал-лейтенанта и носил звание члена верховного военного совета. Несмотря на высокую должность, Маркс был не чужд литературе и, может быть, любил ее больше, чем военные дела. Долгое время живя в Крыму, где у него в Отузах было небольшое именьице, он отлично знал жизнь крымских татар. Как археолог и этнограф, интересовался прошлым Крыма, разыскивал и собирал древности, записывал легенды и в 1913 году выпустил сборник «Легенд Крыма»—прекрасно изданную книгу с оригинальными художественными рисунками; через год появился второй выпуск его «Легенд Крыма». Революция застала Н. А. Маркса в Крыму. Сочувствуя советской власти, он попал в плен к «белым», бежал от них, спасаясь в каком-то крымском местечке. По усмирении Крыма, он занимал должность ректора Краснодарского университета; там в Краснодаре он и умер, кажется, в 1922 году.

* * *

В середине 1900-х гг. в Москве организовалось «Общество деятелей периодической печати и литературы». Председателем совета был П. Д. Боборыкин, в правление входили: Ю. А. Бунин, И. И. Попов, И. А. Данилин, Н. А. Скворцов, А. И. Южин-Сумбатов и я.

Общество состояло из газетных и журнальных работников. Средства общества были очень огра-

ничены, а потому задачи, поставленные в уставе общества, главным образом разнообразная помощь нуждающимся членам, не могли быть выполнены.

В это время акционерное общество «Граммофон» предложило «Обществу деятелей печати» такую комбинацию: «Общество деятелей печати» должно было взять на себя инициативу привлечения известных писателей, артистов, художников, музыкантов и общественных деятелей для записи их голосов на граммофонные пластинки, а общество «Граммофон» обязывалось уплачивать «Обществу деятелей печати» известный процент с пластинки того лица, которое будет привлечено «Обществом деятелей печати».

В первую очередь общество «Граммофон» поставило условие привлечь Л. Н. Толстого для записи его голоса.

Начались переговоры и переписка с Ясной Поляной. В этом деле большое участие принимал писатель-крестьянин Сергей Терентьевич Семенов. Лев Николаевич очень хорошо относился к Семенову, который часто бывал в Ясной Поляне.

На первое предложение получился ответ от дочери Льва Николаевича—Александры Львовны. Она писала от 12 сентября 1909 года следующее:

«Обращаюсь к вам с этим письмом по просьбе Льва Николаевича.

Сегодня мы получили письмо от С. Т. Семенова, который пишет, что литературное общество хочет прислать мастера с фонографом для того, чтобы записать голос Льва Николаевича. Лев Николаевич просит извинить его, но он последнее время настолько слаб здоровьем, что ему было бы трудно говорить в фонограф»...

Через некоторое время переписка возобновилась,—и опять Лев Николаевич отказывался, ссылаясь на слабость здоровья.

Наконец, получилось письмо, в котором извещалось, что Лев Николаевич согласен записать свой голос.

Письмо это было получено 17 октября, а на другой день директор граммофонного общества, механик с аппаратом, фотограф от Отто Ренар и я с Иваном Ивановичем Митропольским, как представители от «Общества деятелей периодической печати», выехали в Ясную Поляну.

Часам к 6 вечера мы были на станции Щекино Моск.-Курской ж. д.

Станция оживленная; в вокзале толпился народ; около станции много извозчиков. Мы наняли несколько повозок, уложили довольно громоздкий багаж и выехали.

От станции Щекино до Ясной Поляны верст 8. Ясный, теплый осенний день сменился довольно холодной ночью.

Не доезжая до Ясной Поляны, извозчик указал нам на имение Телятники, принадлежавшее Владимиру Григорьевичу Черткову.

— Он и сам тут живет. Простой барин,—вместе с рабочими обедает...—пояснил извозчик.

По дороге от извозчика мы узнали, что остановиться ночевать лучше всего у старика Суворова, избушка которого находится у самого в'езда в имение, около тех известных каменных столбов-башен, которые художники много раз изображали на своих картинах, а фотографы—на фотографиях.

Приехавши в Ясную Поляну, мы остановились там, где посоветовал нам извозчик. Суворов—белый, как лунь, небольшого роста старичок—был долгие годы дворовым человеком у Льва Николаевича; когда он устарел, Лев Николаевич построил ему избу и обеспечил его существование. Он жил с внучкой или снохой, у которой были дети.

Приехали, отогрелись и стали обдумывать, когда и кому отправиться к Льву Николаевичу. Решили, чтобы я один теперь же, не дожидаясь утра, отправился в ясно-полянский дом.

Пройдя старую аллею, поднимавшуюся в гору, я подошел к двухэтажному белому дому; вошел в незапертое крыльцо. Внизу, в передней меня встретил домашний врач и секретарь Льва Николаевича—Душан Петрович Маковицкий; он справился, по какому делу я приехал, и поднялся на-

верх доложить Льву Николаевичу, а потом, вернувшись, проводил меня до его кабинета.

Я вошел в кабинет. Лев Николаевич сидел один в углу за очень небольшим круглым столиком и что-то писал. Одет он был в теплую вязаную фуфайку. На столе горела керосиновая лампочка под абажуром.

Со Львом Николаевичем я раньше встречался несколько раз. В первый раз я встретился с ним в вагоне «конки» в 1894 году,—в то время трамваев в Москве еще не было.

С. Т. Семенов зашел ко мне, чтобы ехать вместе к Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову, жившему тогда на Девичьем Поле. Войдя в вагон «конки» на Лубянской площади, мы заметили Льва Николаевича. Семенов подошел к нему и познакомил меня с ним. Лев Николаевич ездил на Мясницкую навещать больного художника Илариона Михайловича Прянишникова и теперь возвращался домой в Хамовники; нам было ехать по пути Помню, это было зимой. Около Арбатских ворот лошади, после остановки, никак не могли стронуть вагона. Лев Николаевич забеспокоился, думая, что лошадям не под силу везти вагон, предложил нам выйти из вагона, хотя в вагоне было очень мало народу, но кондуктор успокоил нас, об'яснив, что лошади немного заартачились и сейчас пойдут, и действительно вагон тронулся.

Доехав до Девичьего Поля, мы проводили Льва Николаевича до его дома, а сами пошли к И. И. Горбунову-Посадову.

Хотя после этой встречи моей со Львом Николаевичем прошло много лет, но он узнал меня и спросил о цели моего приезда.

Я сказал, по какому поводу, по чьему поручению и кто со мной приехал.

Лев Николаевич начал расспрашивать меня, как производится запись голоса на граммофонные пластинки.

Я сознался, что в этом деле очень мало понимаю и что ему подробно об'яснят механик и директор граммофонного общества, приехавшие со мной.

— Это, наверное, то же самое, что прислал мне Эдисон,—сказал Лев Николаевич и начал выдвигать на середину кабинета стоявшую у окна первую модель изобретенного Эдисоном говорящего аппарата и хотел продемонстрировать его, но как ни бился, никак не мог привести его в действие. Пришел сын Льва Николаевича—Андрей Львович, отвинтил какой-то винтик—и аппарат заработал.

— Ах, я старый дурак, чего не догадался сделать! А как это просто!..—добродушно сказал Лев Николаевич.

Фонограф работал слабо,—он был еще неусовершенствован.

— Что же я буду читать-то вам?—немного спустя спросил Лев Николаевич.

— Все, что найдете нужным,—ответил я, и прибавил:—только лучше было бы прочитать что-нибудь небольшое, но законченное.

Лев Николаевич взял со стола небольшую тетрадку.

— Вот тут у меня написаны небольшие вещицы—«Детская мудрость», я прочту какую-нибудь из них,—может быть, подойдет?

И, прочитав один рассказик, спросил:

— Ну, как вы находите?

Я почувствовал робость: мне приходилось говорить Льву Николаевичу о его произведении, и я несмело сказал, что рассказ очень хорош и по размеру как раз подходит для записи на пластинку, но он опасен в цензурном отношении: пластинку могут запретить для продажи...

— И привлекут к ответственности,—добавил Лев Николаевич,—только не меня, а того, кто будет распространять то, что я написал или сказал... Знаю я эту «цедилку»... Ну, вот послушайте, я прочту еще рассказик,—предложил Лев Николаевич и начал читать из той же тетрадки и, когда прочитал, вопросительно посмотрел на меня.

Мне было ясно, что и этот рассказ нецензурен, но я боялся сказать об этом.

— Да вы прямо говорите—годится или нет?— строго сказал Лев Николаевич, остановив на мне взгляд своих острых, серых глаз из-под нависших суровых бровей.

— Если прямо говорить...—начал я, запинаясь,— то и этот рассказ нецензурен.

— Ну, хорошо, я ночью подумаю о том, что надо прочитать,—сказал Лев Николаевич.

Впоследствии и то, что он прочитал из «Круга чтения» и что было зафиксировано на пластинках, вызвало тревогу в цензуре, и пластинки на русском языке были запрещены для продажи.

Сидя с Львом Николаевичем, я обратил внимание на лежавшую на столе книгу, взял ее и стал перелистывать. Лев Николаевич заметил это и сказал:

— Это жизнь и учение одного персидского моралиста; мне эту книгу прислали с Кавказа.

— Он теперь жив?—спросил я.

— Нет, он умер.

И Лев Николаевич начал охотно рассказывать мне о персидском моралисте Бабе.

Между прочим, Лев Николаевич высказал любопытный взгляд о последователях:

— После этого человека остались дети, но они не могли подняться до высоты понимания жизни, вникнуть в глубину его учения,—они брали только

то, что было доступно им; когда к ним стали подходить другие люди, с еще меньшим пониманием, то брали одни верхушки, а когда к этим последним стали подходить последующие поколения, то натыкались на одни только колючки.

В это время в кабинет вошла Софья Андреевна. Лев Николаевич отрекомендовал ей меня. Она села на диван, перекинулась с Львом Николаевичем несколькими фразами, взяла со стола книгу моих стихов изданную в этом году, которую я подарил Льву Николаевичу, и стала рассматривать ее. Она не читала ее, но глядела на бумагу, на шрифт; потом она спросила меня, где я печатал эту книгу, какая цена бумаги и где я покупал бумагу?

Я сказал, что печаталась книга в типографии Кушнерева.

Софья Андреевна сказала, что и она печатает произведения Льва Николаевича в той же типографии.

— А вы с кем приехали?—спросила она. Я рассказал о своих спутниках и где они остановились.

— Так их надо позвать сюда...

— Да, да!—подтвердил Лев Николаевич предложение Софьи Андреевны.

Я вызвался сам сходить за ними.

— Нет, нет! Зачем же? Вы напишите записочку, а мы попросим кого-нибудь отнести ее им.

И Лев Николаевич дал мне один из тех листков чистой бумаги, нарезанных в $^1/_8$ долю листа, на которых он обыкновенно писал в последнее время.

Я обратил внимание на бумагу—она была самого дешевого сорта—и подумал: а я бы положил на стол самую лучшую бумагу.

Когда я писал записку, вошел Д. П. Маковицкий. Он каждый вечер приходил к Льву Николаевичу и брал со стола листки, исписанные им за этот день; он их переписывал набело и на другой день снова приносил вместе с черновиками.

Лев Николаевич перечитывал переписанное и делал поправки. Так с некоторыми рукописями повторялось несколько раз.

Лев Николаевич попросил Маковицкого послать записку в избу Суворова, а сам начал переписывать что-то из принесенных Маковицким бумаг.

— Вы не обращайте на меня внимания,—я сейчас кончу; это, видите ли, один думский депутат Челышев просил меня написать текст для ярлыка на водку. Челышев ратует против пьянства, представил какой-то проект в Думу,—надо ему это сделать...

Пока Лев Николаевич писал, я разговаривал с Софьей Андреевной. Между прочим мы разговорились о художнике И. К. Пархоменке, который писал с Льва Николаевича портрет, понравившийся Льву Николевичу.

Когда Лев Николаевич кончил переписывать, взял черновик, сложил его пополам, надорвал и бросил под стол; листок упал к моим ногам; у меня сейчас же мелькнула мысль—поднять этот листок и сохранить, но я постеснялся сделать это.

Софья Андреевна стала приглашать нас в столовую к вечернему чаю, и сама первая вышла из кабинета. Поднялся и Лев Николаевич, я вышел последним и, когда выходил, наклонился и поднял брошенный на пол черновик.

Впоследствии я передал этот листок в Толстовский музей, где он и хранится до сих пор.

Вскоре в столовой появились и мои спутники; они захватили с собой граммофон и несколько пластинок и попросили позволения продемонстрировать их.

Лев Николаевич согласился.

Поставили несколько пластинок с «песнями каторжан», записанными Гартвельдом.

Прослушав их, Лев Николаевич сказал:

— Не хорошо.—В песнях каторжан, как и вообще в песнях русского народа, не одно только ухарство,—в них есть и грусть, но эта грусть особенная,—она поднимает, бодрит...

Зато пластинки с игрой на балалайке Трояновского очень понравились Льву Николаевичу. Я сидел за столом рядом с ним и слышал, как он притопывал ногой в такт игре.

— Трояновский приезжал к нам и играл здесь; он обещал еще раз приехать. Ты бы ему написал,— обратилась Софья Андреевна к Льву Николаевичу, который в знак согласия кивнул головой.

За чаем Лев Николаевич, как-будто вспомнив о моих стихах, обратился ко мне:

— А знаете что?—мне ваши стихи не нравятся.

— Почему? Как-то наивно и неожиданно для себя,—спросил я.

— Я пробежал несколько страниц вашей книги; в ваших стихах описываются тонкие чувства переживаний, настроений,—все это непонятно да и ненужно простому народу,—сказал Лев Николаевич.

— У меня большинство стихов написано просто. Иван Иванович Горбунов-Посадов для издательства «Посредник» сделал выбор из этой книги и издал для народа, и такая книжечка выдержала не одно издание и разошлась в десятках тысяч экземпляров,—как будто ввиде оправдания пояснил я.

Лев Николаевич наклонился ко мне, обнял меня рукой и сказал:

— А я этого не знал! Так вы настоящий поэт!

Так Лев Николаевич понимал искусство.

Во время чая директор граммофонного общества предложил Льву Николаевичу принять в подарок привезенный из Москвы граммофон с пластинками.

Лев Николаевич, как-будто испугавшись чего, замахал руками.

— Нет! Нет! Пожалуйста не делайте этого. Граммофон, наверное, стоит очень дорого.

Граммофон действительно был очень хороший. Софья Андреевна начала было говорить, что граммофон можно отдать в школу, но Лев Николаевич настаивал на своем

Когда кончили пить чай, Лев Николаевич первым вышел из-за стола. Он простился с нами, подошел к Софье Андреевне, поцеловал ее и ушел к себе в кабинет.

Стали расходиться и мы. Софья Андреевна предложила мне и директору остаться и ночевать в доме, сказав, что в библиотеке уже приготовлены постели.

Мы простились с Софьей Андреевной, спустились вниз и расположились в комнате рядом с бывшим кабинетом Льва Николаевича, в котором И. Е. Репин изобразил его на своей картине.

На другой день я проснулся рано и вышел из дома. На траве, на куртинах с увядшими цветами лежал иней. Огромный фруктовый сад, уже безлиственный, начинался прямо от дома.

После тепло натопленных комнат дома, мне показалось, что был сильный мороз.

Я спустился вниз по аллее к в'езду в усадьбу и подошел к пруду,—он за ночь весь покрылся тонкой пленкой льда.

Какой-то деревенский мальчик стоял на берегу и делал «блинки»: он бросал в пруд камешки, которые, весело подпрыгивая и позвякивая, бежали далеко по льду пруда.

Я зашел в избу Суворова и сказал своим спутникам, ночевавшим там, чтобы они приготовлялись к записи.

Когда я возвращался к дому, из крыльца вышел Лев Николаевич совершать свою обязательную утреннюю прогулку. Одет он был в простое драповое пальто, на голове серая войлочная шапка, на руках—простые, домашней вязки, шерстяные перчатки. Лев Николаевич опирался на оригинальную палку: ручка этой палки состояла из двух металлических дужек; если их разогнуть, то получалось нечто вроде сиденья. Конец палки, окованный железом, имел обручик, как у лыжной палки;—это для того, чтобы при сиденьи палки не уходили в землю.

Около крыльца вертелись две молодые собаки-лайки,—они пристали ко мне.

Выйдя из крыльца, Лев Николаевич поздоровался со мной, сказал: «Однако вы рано встаете!» и свистнул. Одна из собак побежала к нему.

Отойдя несколько шагов, Лев Николаевич оглянулся и, увидав, что другая собака не отходит от меня, крикнул:

— Что же это вы мою собачку-то от меня отбиваете?

Он свистнул еще раз, и другая собака побежала к нему. Уже не оглядываясь, Лев Николаевич, быстро шагая, скрылся за деревьями сада.

Пока он совершал прогулку, механик приготовил аппарат для записи в библиотечной комнате.

Лев Николаевич вернулся с прогулки часа через полтора.

Фотограф, дожидавшийся его у крыльца, попросил позволения сфотографировать его. Лев Николаевич согласился и сел на скамью под «деревом бедных».

Старый, высокий тополь назывался «деревом бедных», должно быть, потому, что к этому дереву приходили бедняки, и Лев Николаевич помогал им.

При мне к нему подошел бедно одетый человек, и Лев Николаевич дал ему какую-то серебряную монету.

Когда Лев Николаевич раздевался внизу, в передней, фотограф успел перенести свой аппарат на верх, в столовую и, как только Лев Николаевич вошел туда, снова обратился к нему с просьбой снять еще раз:

— Я вас, Лев Николаевич, сейчас снял в шапочке, а теперь позвольте снять без шапочки?

Лев Николаевич улыбнулся и покорно сел в кресло. Все время, пока фотограф суетился около аппарата,—вставлял кассетки, накрывался черной материей и смотрел в об'ектив, подходил к Льву Николаевичу, подправлял его блузу, двигал под ним кресло,—Лев Николаевич не делал никаких замечаний и внимательно следил за фотографом, потом обратился ко мне и сказал:

— Я думаю, что это очень хороший фотограф!

— Почему,—спросил я,—ведь еще неизвестно, какие у него выйдут снимки...

— Потому хороший, что он уж очень серьезно относится к своему делу: посмотрите, какой здоровый, крепкий человек, а занимается такими пустяками! Но на него весело смотреть, а потому тот, кого он снимает, всегда выйдет веселым... Хороший фотограф,—подтвердил Лев Николаевич.

Фотограф действительно был высокого роста, крепко сложенный, но подвижной и озабоченный своим делом немец, что и казалось смешным Льву Николаевичу.

После фотографирования Льва Николаевича пригласили в низ для записи его голоса. Он взял с собой книгу—«Круг чтения», спустился в библиотеку, уселся в кресле против аппарата и прочитал выбранные им отрывки мыслей из «Круга чтения» для двух пластинок—двойной и ординарной.

Когда Лев Николаевич кончил чтение, директор граммофонного общества стал просить его прочитать еще по-французски и по-английски, об'ясняя свою просьбу тем, что пластинки их общества широко распространяются заграницей

Лев Николаевич согласился и попросил Александру Львовну принести французскую и английскую книгу переводов своих произведений. Александра Львовна принесла две книги и заметила:

— Только вы напрасно просите папу читать по-английски: он уж очень добросовестно читает,—все буквы произносит, а этого в английском языке не полагается.

Лев Николаевич улыбнулся и начал читать; прочитав еще для двух пластинок, он встал со словами:

— Однако я устал!

Механик,—немец по происхождению,—начал просить Льва Николаевича прочитать еще по-немецки, говоря, что и его народу будет приятно услышать голос Толстого.

— Ну, что ж теперь делать? Давайте немецкую книгу,—согласился Лев Николаевич.

Принесли книгу, и он прочитал еще для одной пластинки по-немецки, поднялся на верх и ушел в свой кабинет.

Александра Львовна пригласила нас пить кофе в столовую.

Завтрак и кофе подали Льву Николаевичу в кабинет.

Софьи Андреевны в столовой не было. Александра Львовна об'яснила, что мама очень поздно ложится, занимаясь хозяйственными делами, а потому не может вставать рано.

Напившись кофе с домашним хлебом и сливочным маслом, мы попрощались и вышли из дома.

У крыльца стояли подводы; на них укладывались вещи,—аппарат для записи голоса, фотографический аппарат и граммофон.

Вышел Лев Николаевич и спросил, указывая на граммофон:

— А это что такое?

Ему ответили, что это тот самый граммофон, который предназначался ему в подарок.

— Ну, вот спасибо вам, что увозите!—сказал Лев Николаевич, простился со всеми и ушел в дом.

Мы тронулись в путь по шоссе в Тулу. День был солнечный, теплый, так что можно бы было оставаться без пальто.

Вечером, в день приезда, сидя в кабинете у Льва Николаевича, я передал ему поручение-просьбу от «Общества типографов», которое решило издать сборник в пользу типографских рабочих,—дать

что-нибудь для сборника. Лев Николаевич сказал, что у него сейчас нет ничего подходящего. Тогда я попросил его дать хотя свой автограф, и он на полях своего большого портрета написал несколько изречений и афоризмов на тему о жизни и смерти из «Круга чтения». Этот портрет был воспроизведен в сборнике «Друкарь», редактором которого был Н. Д. Телешев.

В это же время Лев Николаевич подарил и мне свой портрет с надписью, датированной 18 октября 1909 года.

Так записывался голос Льва Николаевича Толстого.

Но, кроме его голоса, были записаны голоса многих писателей, артистов, певцов, музыкантов и общественных деятелей, и «Общество деятелей периодической печати» некоторое время существовало на доходы от отчисления процентов за проданные пластинки.

* * *

«Касса взаимопомощи литераторов и ученых» была основана в Петербурге при «Литературном фонде», в Москве же было ее филиальное отделение, в правление которого входили московские писатели: председатель—Н. Д. Телешев, секре-

тарь—И. А. Данилин, очень ревностно относившийся к делам кассы. Казначеем был Федор Владимирович Головин—сотрудник «Русских Ведомостей».

Неизменным председателем ревизионной комиссии все время состоял Николай Васильевич Давыдов, состоявший председателем Московского Окружного Суда, автор воспоминаний о старой Москве и книги очерков и рассказов, подписанной—«Н. Василич».

Н. В. Давыдов был близок к Малому театру, много лет был близко знаком с Л. Н. Толстым, которому дал тему для пьесы «Живой труп», рассказав случай из своей судебной практики.

Н. В. Давыдов умер незадолго до революции и погребен на кладбище Донского монастыря.

В 1912 году «Касса взаимопомощи» была в административном порядке закрыта на основании того, что якобы помощь писателям и ученым оказывалась не только после смерти их, т.-е. пособия выдавались наследникам, но помощь оказывалась и живым членам «Кассы», что по уставу не полагалось делать.

Тогда образовалось свое самостоятельное «Московское общество помощи литераторам и журналистам». Устав этого общества был утвержден 1 июля 1913 года. В состав нового общества вошли многие прежние члены «Кассы взаимопомощи».

Однако это общество просуществовало очень недолго: у него нехватило средств для существования, так как членский взнос был определен в один рубль, а иных источников дохода общество изыскать не могло,—так само собой и прекратило свое существование.

* * *

В 1909 году участники старой «Среды» вздумали образовать свое издательство; к ним примкнули многие писатели из «Молодой Среды». Организацию этого дела начал Николай Семенович Клестов-Ангарский; он был знаток этого дела, работая раньше в московском издательстве «Земля».

С Н. С. Клестовым я познакомился в 1907 году в Крыму; встретились мы с ним весной в Ялте; он был тогда на нелегальном положении и жил под фамилией Масленикова.

В то время Ялтой управлял известный губернатор Думбадзе, который яростно выводил крамолу из Ялты, как местности, близко соприкасающейся с резиденцией царя—Ливадией. Все подозрительные приезжие выслеживались, неблагонадежные сажались в тюрьму или высылались из Ялты;—сыск был поставлен на высоту.

Выслежен был и Маслеников.

Когда я собирался уезжать из Ялты, нанял экипаж, чтобы ехать в Севастополь, ко мне прибежал Николай Семенович.

— Когда вы уезжаете?—спросил он.

Я сказал, что еду через два-три часа.

— Возьмите меня с собой: мне, во что бы то ни стало, надо уехать из Ялты.

Я согласился,—и мы выехали в Севастополь, а оттуда в Москву.

Так Думбадзе и не удалось поймать Масленикова...

Вначале наше «Книгоиздательство писателей» в Москве образовалось под фирмою «Торгового дома С. Д. Махалов и Д. Я. Голубев», а с 1915 года перешло в товарищество.

«Книгоиздательство» развило свою деятельность до очень широких размеров: оно имело свою типографию и издало массу книг.

К членам «Среды» охотно примкнули многие писатели и давали свои произведения для издания. Один Л. Н. Андреев долгое время не хотел вступить в члены товарищества, и на мой совет сделать это отвечал мне в письме из Рима:

«Ты говоришь, отчего я не иду к московским писателям? А зачем? Сейчас у меня с ними отношения хорошие, а войду я —непременно произойдет какая-нибудь схватка и принципиальный дебош... И редакционный комитет не спасет от беды:

состав его тенденциозно-жизнерадостный, ибо Митрич [1]) будет только мирить, да стараться когонибудь не обидеть, а милый И. С. [2]) от нутра будет загибать петербуржцу салазки. Ибо я—петербуржец—это—факт, и всегда им был.

Посмотри: Москва—это Лев Толстой; Петербург—Достоевский»...

Однако, в конце-концов «Книгоиздательство» начало издавать Андреева, но это было уже под конец.

«Книгоиздательство» несколько лет издавало альманахи «Слово», редактором которых одно время был В. В. Вересаев. Кроме того, издавалась—«Дешевая библиотека» и «Народно-школьная библиотека».

Под конец большое участие в «Книгоиздательстве» принимал Василий Львович Львов-Рогачевский—историк литературы и критик.

Ликвидировалось «Книгоиздательство» в годы революции.

* * *

«Общество Любителей Российской Словесности» является одним из старейших литературных об-

[1]) Митрич—Н. Д. Телешев.
[2]) И. С.—Шмелев.

ществ Москвы,—оно существует более 100 лет, а устав получило 15 октября 1866 года.

Цель общества состояла «в содействии развитию отечественного языка и успехам его литературы», как было сказано в уставе.

Общество не оставляет своей деятельности и до сего времени, имея комиссии: Пушкинскую, Тургеневскую и по изучению современной литературы.

Когда председателем общества был академик Алексей Николаевич Веселовский, а товарищем его—Алексей Евгеньевич Грузинский, впоследствии ставший председателем общества, многие из членов «Среды» были избраны в действительные члены этого общества. В настоящее время председателем общества состоит Павел Никитич Сакулин. С ним я познакомился в 1900 году у Н. Н. Златовратского в Апрелевке; в то время Сакулин жил тоже на даче недалеко от Златовратского и нередко бывал у старого писателя.

Когда я, в марте 1905 года, был избран в действительные члены «Общества Любителей Российской Словесности», я стал часто бывать на собраниях общества, происходивших в круглой зале канцелярии Московского университета. Там я познакомился со многими учеными и писателями, и когда я, человек происходивший из среды простого народа, обучавшийся только в городском училище,

сидел среди профессоров, мне невольно приходили на память строки из некрасовского стихотворения:

Будешь в университете,—
Сон свершится на яву...

Некоторых писателей я знал лично и ранее, а имена некоторых мне были знакомы по литературе. Так, на одном из заседаний общества, я встретился с Константином Дмитриевичем Бальмонтом, у которого мне пришлось быть на квартире еще в 1892 году и вот при каких обстоятельствах. Приехал из Одессы поэт Александр Митрофанович Федоров, зашел ко мне и предложил поехать к К. Д. Бальмонту. Там Федоров должен был читать только-что переведенную им стихами поэму Арнольда—«Свет Азии».

Я поехал, и впервые лично познакомился с Бальмонтом, имя которого, как поэта-новатора, уже становилось известным читающей публике.

Но, как поэта, Бальмонта я знал гораздо раньше: в конце 1889 года я купил книжечку его стихов, изданную в Ярославле, а в марте 1890 года я прочитал в газетах о случае, происшедшем с Бальмонтом.

Вырезка из номера «Русских Ведомостей» от 14 марта 1890 г. у меня сохранилась до сего времени.

Привожу эту хроникерскую заметку, характерную для того времени, целиком:

«Выбросившийся из окна.

Вчера в доме Полякова, на углу Тверской и Леонтьевского переулка, выбросился из окна второго этажа во двор, с высоты 15 аршин, проживающий в том же доме, в номерах «Мадрид», студент Ярославского Демидовского юридического лицея Константин Дмитриевич Бальмонт.

Произошло это при следующих обстоятельствах: Бальмонт давно уже страдает нервным расстройством, от которого он лечился даже на Кавказе, где он, между прочим, поправился. Но когда он снова стал заниматься, душевная болезнь у него проявилась снова, и он приехал в Москву для лечения в водолечебном заведении Редлиха.

В номерах «Мадрид» он проживал вместе с своей женой. Вчера, в день происшествия, он мирно сидел в обществе жены и товарища в своем номере. В то время, как жена и товарищ несчастного беседовали, Бальмонт чертил что-то у письменного стола. Это было после полудня. Вдруг он поднялся с своего места и вышел в коридор, на что сидевшие с ним не обратили внимания. Не прошло и пяти минут, как им сообщили, что Бальмонт выбросился из окна.

Несчастный, выйдя в коридор, подошел к окну и, видя, что кругом его никого нет, бросился вниз. Его подняли с переломом руки и ноги. По доставлении его в Ново-Екатерининскую больницу, врач нашел повреждения тяжелыми, хотя и неопасными для жизни, если только не обнаружится других, более серьезных повреждений, как сотрясение мозга и т. п.

Бальмонту 28 лет. На письменном столе, за которым он сидел за несколько минут до покушения на самоубийство, нашли три записки: на имя жены, властей и товарища. В записках он просит в своей смерти никого не винить и жалуется на невыносимые головные боли, побуждающие его расстаться с жизнью».

Впоследствии К. Д. Бальмонт изобразил это происшествие в автобиографическом стихотворении, появившемся в сборнике «Почин», изданном «Обществом Любителей Российской Словесности» в 1915 году.

Стихотворение это озаглавлено «Воскресший» и не вошло ни в один том сочинений Бальмонта.

Начинается оно так:

Полуизломанный, разбитый,
С окровавленной головой,
Очнулся я на мостовой,
Лучами яркими облитый.
Зачем я бросился в окно?

Ценою страшного паденья
Хотел купить освобожденье
От уз, наскучивших давно.
Хотел убить змею печали,
Забыть позор погибших дней...
Но пять воздушных саженей
Моих надежд не оправдали...
И вдруг открылось мне тогда,
Что все, что сделал я,—преступно,—
И было небо недоступно,
И высоко, как никогда!..
В себе унизив человека,
Я от своей ушел стези,—
И вот лежал теперь в грязи,
Полурастоптанный калека...

В последнее время я очень редко встречал Бальмонта, да и он в Москве мало жил, то. и дело уезжал заграницу, где живет и теперь.

* * *

В жизни литературной Москвы следует отметить 1911 год. Этот год, в частности, связан и с моей литературной деятельностью, как я уже отметил об этом в начале воспоминаний.

26 февраля 1911 года исполнилось 50-тилетие со дня смерти Т. Г. Шевченка и 25 лет с тех пор, как я начал переводить «Кобзаря». Украина готовилась торжественно отметить этот день. Торжества должны были происходить в Киеве, но правительство убоялось украинского сепаратизма

и запретило эти торжества в Киеве, однако, в известной мере, дозволило их в Москве. Тогда в Москве образовался «Комитет по чествованию памяти Шевченка», во главе которого стал академик Федор Евгеньевич Корш; я был в числе членов комитета.

Ф. Е. Корш был не только ученым, но и поэтом: он переводил славянских поэтов—Прешерна и других, хотя переводы его отличались не столько художественностью, сколько точностью. И вообще Ф. Е. очень любил стихи; он даже в мой 25-летний юбилей, как переводчика «Кобзаря» Шевченка, прислал телеграмму в стихах:

Разностороннему катару
Повержен с юношеских лет,—
Я, Корш—язычник, юбиляру
По телеграфу шлю привет.

Торжества в Москве начались 26 февраля. В день смерти Шевченка прежде всего была отслужена панихида по нем. Между прочим, надо заметить, что ни на Украине, ни в каком-либо другом городе, кроме Петербурга, панихиды по Шевченке не были разрешены правительством.

Но еще в 1902 году мне пришла мысль демонстративно отслужить панихиду.

В то время в Москве гастролировала украинская труппа во главе с Марком Лукичем Кропивницким;

в состав труппы входили: Марья Константиновна Занковецкая, братья Тобилевичи, игравшие под фамилиями Садовского и Саксаганского, и другие известные украинские артисты. Я оповестил о своем намерении отслужить панихиду кое-кого из писателей и артистов, что панихида по Шевченке будет отслужена в церкви Большого Вознесения на Никитской, так как эта церковь считалась литературной—в ней венчался А. С. Пушкин.

В тот год 26 февраля приходилось в воскресенье; в церкви пел хор певчих. После обедни я сговорился с регентом хора пропеть панихиду и заявил священнику, что желаю отслужить панихиду. «По ком?» спросил священник. Я сказал: «по Тарасии».

И панихида была отслужена более или менее торжественно, так как духовенство заметило, что публики было много, да и публика была какая-то особенная, необычная.

После панихиды большинство присутствовавших на ней собрались в ресторане «Континенталь» на углу Театральной площади и Охотного ряда и за дружеской беседой-обедом помянули батьку Тараса «не злым, тихим словом».

Помню, за обедом М. Л. Кропивницкий с большим чувством прочитал «Думы» и «Черница» Шевченка.

А на другой день в газетах появилось сообщение, что там-то и тогда-то была отслужена панихида по Шевченке, и перечислены были все присутствовавшие на ней лица.

Через несколько дней после этого случая, правда мало заметного в столичной жизни,—6 апреля умер Глеб Иванович Успенский. Университетская молодежь захотела отслужить по нем панихиду и уже официально обратилась с этим к тому же самому священнику, который служил панихиду по Шевченке.

— А по ком вы желаете отслужить?—спросил священник у явившегося к нему студента.

— По Глебе,—ответил тот.

— А кто такой Глеб?

— Глеб Иванович Успенский—известный писатель,—пояснил студент.

— Так, так...,—задумчиво произнес священник,—так вы вот что сделайте, молодой человек: возьмите, от кого следует, разрешение, приходите ко мне, тогда я и отслужу, а то я недавно отслужил панихиду по каком-то Тарасии, а оказался Шевченком!...

После 1911 года панихиды по Шевченке снова были запрещены...

Вечером 26 февраля в «Литературно-Художественном Кружке» происходило торжественное заседание. Представители различных литературных

обществ и учреждений произносили речи перед бюстом поэта, выступали артисты с чтением стихов Шевченка, певцы—с пением положенных на музыку слов Шевченка. А на другой день были сделаны доклады о жизни и творчестве украинского гения.

Перед этим комитет несколько раз собирался для обсуждения предстоящих торжеств. На одном из заседаний комитета я встретил довольно бодрую, крепкую старуху, одетую по-мещански,—в ситцевом платье темного цвета, с косынкой на плечах.

Мне сказали, что это Лукерья Ивановна Яковлева, бывшая невеста Шевченка, в девичестве носившая фамилию Полусмаковой. Во время перерыва заседания я познакомился с Лукерьей Ивановной и разговорился с ней.

Мне очень хотелось услышать что-нибудь о Шевченке от такого близкого ему человека, как его невеста,—живого свидетеля отдаленного прошлого, которое связано с именами Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Щепкина и многих других.

— Где вы теперь живете?—спросил я Лукерью Ивановну.

— В Каневе,—поближе к могиле Тараса Григорьевича. Я часто хожу к нему на могилу, присматриваю за ней... Да вот какой случай был этим летом: прихожу я на могилу и вижу,—сторож

около самой могилы насадил целую гряду цыбули—луку. Я ему и говорю: как ты смел около такой могилы цыбули насадить?

«А кто ты такая?» спросил меня сторож. Я говорю: я невеста Шевченка. Посмотрел на меня сторож, и говорит: «Вот возьму я палку, да палкой то тебя так турну с могилы, что прямо в Днепр скатишься!.. Какая невеста отыскалась!... Мало ли таких невест у Тараса Григорьевича найдется!» Вот какой озорник!—жаловалась мне Лукерья Ивановна.

— Да,—подумал я тогда,—вот и сторож не поверил, что жива еще невеста Шевченко.

Из разговора с Лукерьей Ивановной мне стало ясно, что она очень мало помнила своего жениха. В то время, когда он сватался к ней, она не могла понять его значения и просто считала его «паном»,—лысым, сердитым, но, как она предполагала, богатым,—и это ей льстило: она, простая крепостная девка, горничная, слуга,—сама будет госпожей!.. А потом, когда узнала, что у этого «пана», кроме нескольких книжек да принадлежностей для живописи, ничего нет,—променяла его на молодого, красивого парикмахера Яковлева, вышла за него замуж, и первое время совершенно позабыла про того, кто, измученный жизнью, ссылкой и солдатчиной, хотел отдохнуть с ней, и «по-

ховать лихое лихо в хатыни тихой и веселой» на родной Украине.

Мне хотелось узнать, как она познакомилась с Шевченком и при каких обстоятельствах он сватался к ней.

И вот что она рассказала мне:

«Я служила у господ чайной горничной; на мне лежала обязанность разливать чай господам и служить, когда приезжали гости. Приезжал и Тарас Григорьевич. Приедет бывало и на месте не посидит,—заложит руки назад, голову опустит и все ходит и ходит по комнате, ни на кого и не глядит... Один раз я сижу, разливаю чай, он подошел ко мне и говорит:—«Налей мне, дивчино, чаю». А я спрашиваю: «вам с сахаром или без сахару?»—«Без сахару!»—говорит он».

Эти воспоминания показались мне очень незначительными, и я попросил Лукерью Ивановну рассказать мне о самом сватовстве. И опять были воспоминания в таком же роде:

«Жили мы с господами на даче в Стрельне, около Петербурга; туда часто, особенно по праздникам, приезжал Тарас Григорьевич; ходил он тогда в белом летнем сюртуке [1)]... Был при нашей даче садик, вот там и любил посидеть Тарас Григорьевич.

1) Редкий фотографический снимок Шевченки в белом сюртуке принадлежал артисту Любову.

Однажды экономка говорит мне: «Тарас Григорьевич просит стакан воды,—поди, отнеси ему,—он в саду сидит».

Я понесла воду. Он сидел на скамейке один. Подошла я к нему, подала стакан, а он взял меня за руку и говорит: «Садись со мной, дивчино»... Я села. «Хочешь за меня замуж войти?»—спрашивает он меня. Я, конечно, с радостью согласилась».

Действительно ли это скоропалительное согласие на брак дано было Лукерьей Ивановной искренно, или тут были какие-либо практические соображения,—сказать утвердительно трудно, но скорее можно присоединиться ко второму предположению.

— На другой день Тарас Григорьевич привез кольца, дал мне одно, а другое взял себе,—и мы ходили обрученные,—закончила свой рассказ о сватовстве Лукерья Ивановна.

После этого Шевченко стал заботиться о своей невесте,—покупать ей приданое, дарить разные вещи.

На Шевченковской выставке находилась записная книжка Лукерьи Ивановны, в которой довольно безграмотно, каракулями было записано, что куплено и подарено ей Тарасом Григорьевичем: салоп, платья, чулки и прочие домашние принадлежности. Кроме того, известно, что Шевченко подарил своей невесте копилку с серебряными пя-

тачками;— это, должно быть, было его единственное сбережение.

Обручившись с Лукерьей, Шевченко начал брать ее с собой в театры и к знакомым, возвращаясь иногда поздно ночью, и это, повидимому, не нравилось господам Лукерьи. Они вообще были против этого брака и, может быть, по-своему оберегая репутацию Тараса Григорьевича, делали ему намеки, что нельзя, дескать, с молоденькой девушкой, еще не повенчанной, ездить повсюду.

На это Шевченко ответил стихотворением, написанным в «Стрельне» 5 августа 1860 года и озаглавленным «Лыкери» (Лукерьи):

Моя ты любо! Мий ты друже!
Не ймуть нам виры без хреста,
Не ймуть нам виры без попа,
Раби, невильники недужи!..
Зазнулы, мов свыня в калюжи,
В своий неволи...

Но это был только порыв человека, цепляющегося за все, в чем он искал успокоения своему измученному сердцу.

Вскоре у Шевченка появилось сомнение или сожаление об этом деле, и получился разрыв. Доказательством этому служит его стихотворение, посвященное Н. Я. Макарову, крепостной которого

была Лукерья. Стихотворение озаглавлено так: «На память 14 сентября 1860 года».

Вот это стихотворение в русском переводе:

Цвел цветочек, зеленел,
Пышно распускался,
Да морозец рано утром
В тот садок прокрался,—
Потоптал цветочка ветки,—
И погибла роза!..
Жалко, жалко мне цветочка,
Жалко и мороза!..

Чуткой, любвеобильной душе Шевченка, видимо, было жаль и эту крепостную девушку и жаль было самого себя.

Вскоре после помолвки, Тарас Григорьевич решил свою нареченную невесту взять к себе на квартиру при Академии Художеств, где он занимал две небольших комнатки в антресолях.

Мне было любопытно узнать, помнит ли об этом времени Лукерья Ивановна? Я задавал ей наводящие вопросы и получал очень скудные ответы.

— Не помните ли, кто в это время бывал у Тараса Григорьевича?—спрашивал я.

— Бывали разные художники, паны...

— Кто же именно?—допытывался я.

— Не знаю...—получался ответ.

— Что же делал Тарас Григорьевич,—писал или рисовал?—снова спрашивал я.

— Больше рисовал; с меня сколько раз писал портреты,—вспоминала Лукерья Ивановна.

— Ну, а вы видали, как он писал? И читал ли он вам когда-нибудь только-что написанное им?—интересовался я.

— Нет, этого я никогда не видала: когда он начинал писать, то говорил мне, чтобы я уходила из дома,—он оставался один и писал.

А дальше Лукерья Ивановна жаловалась, что их разлучили по злобе паны, которых Тарас Григорьевич не любил и рассказывал про них много нехороших вещей; за это паны все делали на зло Тарасу Григорьевичу и не хотели сделать того, что он хотел.

— Вот и разлучили нас!—грустно говорила Лукерья Ивановна.—Когда умер Тарас Григорьевич, я была больна, лежала в больнице и не знала, как его похоронили...

Все эти оправдания пришли в голову Лукерье Ивановне уже в последнее время, когда она узнала, что женихом ее был не простой человек, а великий печальник горя народного,—знаменитый украинский поэт.

К «Шевченковским святам», т.-е. к торжествам, в Москве образовался «Украинский Музыкально-Драматический Кружок «Кобзарь». Членами-учредителями его состояли: академик Федор Евгеньевич Корш, артист-тенор Иван Алексеевич Алчевский, заведующий этнографическим отделом Румянцевского музея Николай Андреевич Янчук, артист оперы Зимина—Михаил Иванович Донец, музыкант-композитор Александр Федорович Засядько и украинский поэт Николай Григорьевич Филянский, по профессии архитектор. Я вступил в члены этого кружка, в котором нередко бывал на собраниях и вечерах, посвященных украинской музыке или украинской песне. Не раз на этих вечерах выступал с докладом Симон Петлюра, я встречался с ним в кружке, и когда на юге появился Петлюра, я никак не мог предположить, чтобы это был тот самый скромный бухгалтер страхового общества Симон Васильевич Петлюра, которого я знал в Москве. И когда я услыхал о его конце, мне пришла на мысль песня:

Судьба играет человеком,—
Она изменчива всегда,
То вознесет его высоко
То бросит в бездну без следа!..

В самом начале своих воспоминаний я говорил, что я, по окончании курса в городском училище, уехал с родственницей в Киев,—и с тех пор так

полюбил этот город, что впоследствии, начиная с 1907 года, редкий год не бывал в нем.

Однажды, я даже поселился на даче около Боярки, верстах в 15 от Киева, и прожил там лето, нанимая в деревне Малютинке крестьянскую хату.

Как раз в это время в Киеве появился Скиталец. Он разыскал меня и приехал ко мне на дачу с молодым, талантливым украинским поэтом Александром Ивановичем Кандыбой, писавшим под псевдонимом «Олесь».

В это же время в Киеве я познакомился с поэтом Даниилом Максимовичем Ратгаузом, издавшим несколько томов своих стихотворений, из которых некоторые были положены на музыку П. И. Чайковским.

В 1912 году, через поэта Н. М. Мешкова, я познакомился с интересным человеком—Аркадием Ивановичем Гурьевым; он писал стихи и выпустил книгу стихов под названием «Безответное».

Кроме того, Гурьев был музыкальным человеком,—он когда-то обладал чудесным голосом, но потерял его во время нервной болезни. Я познакомился с Гурьевым тогда, когда у него осталось только одно уменье петь. В то время у меня часто собиралась литературная молодежь; главной причиной этого служило издательство мною журнала «Путь».

Кстати сказать, на издательство журнала меня подбил Н. И. Тимковский. В 1911 году в Москве издавался «Наш Журнал». Издателем и редактором его был П. В. Мурашев. Когда у Мурашева нехватило средств для издания, он стал искать поддержки. Тимковский почему-то очень благоволил этому журналу и уговорил меня взять журнал в свои руки. Я согласился, но журнал фактически оставался в ведении Мурашева, я только, как издатель, давал средства для издания. Но Мурашев как не сумел поставить дело своего издания, так провалил и мое,—он вел внутреннее обозрение, и одной своей статьей подвел журнал под штраф.

Отделавшись от Мурашева, я об'явил, что в 1912 году журнал будет называться «Путь», и будет выходить ежемесячно. В секретари я пригласил Николая Никитича Степаненко, с которым, как писателем, был давно знаком; он работал в провинциальных изданиях,—человек одинокий, скромный, любивший литературу.

Вот к этому-то журналу и начали собираться молодые, только-что начинающие выступать в литературе, писатели.

В смысле сотрудничества журнал поддержали старые члены «Среды»,—в «Пути» были помещены произведения следующих авторов: Н. Д. Телешева, Н. И. Тимковского, А. Серафимовича, И. А. Бу-

нина, Скитальца, И. С. Шмелева, М. Горького, А. М. Федорова и др.

Один Л. Н. Андреев воздержался и не дал ничего в «Путь». На мою просьбу прислать хоть маленький рассказик, он ответил таким письмом:

«Милый мой Белоусыч! Вот тебе некоторые сведения о Л. Андрееве. Он всюду получает тысячу за лист, или рубль за строчку, и меньше не берет, так как он корыстолюбив и пишет маловато: так за последние два года он написал всего восемь листов. Теперь: выгодно ли издателю платить такие безумные деньги?—Выгодно, но только в одном случае, если он имеет Андреева постоянным сотрудником, т.-е. получает несколько вещей в год. Среди нескольких вещей, наверное, попадется одна боевая, и на ней издатель отыграется. Так было с «Шиповником», который ныне возобновляет договор с Андреевым на 6—8 листов в год, повышая плату до полутора тысяч.

Если у тебя журнал маленький и плавание ему предназначается небольшое, то на Андреева не трать́ся, не выгодно, только гроши потеряешь. Ведь он—подлец, вроде Шаляпина. Ну и подумай: пригласить Шаляпина в дачный театрик с сотней мест,—пропадешь!..».

Не так отнесся к сотрудничеству в «Пути» Максим Горький; на мое предложение прислать что-нибудь для журнала, он прислал мне «Сказку»,

сопроводив присылку следующим письмом с Капри от 17 мая 1912 года:

«Дорогой Иван Алексеевич!

Так как газеты платят мне по 50 рублей за сказку, я считаю, что вы должны мне 100 рублей.

Очень прошу вас послать эти деньги Е. Я. Ш. в слободу Корпенково, Острогорского уезда, Воронежской губ. Эти деньги пойдут одной каторжанке, почти умирающей от истощения, и я весьма просил бы вас,—будьте добры поторопитесь послать их!

Желаю всего доброго. А. Пешков».

Письмо само за себя говорит об отношениях к людям Алексея Максимовича.

Л. Н. Андреев был прав: журнал надо было или ставит широко, или совсем его не издавать. «Путь» с трудом продержался $2^1/_2$ года и в 1914 году закрылся...

Но кроме старых членов «Среды», около журнала «Путь» образовалась целая группа молодых писателей—они и вели журнал. Иностранное обозрение русской жизни вел в журнале И. И. Попов, а одно время—Гальберштадт. За одну из этих статей администрация наложила на журнал довольно порядочный штраф.

* * *

Если царская цензура накладывала свою лапу на печатное слово, то она не менее зорко следила и за устным словом. Вот пример этому.

В сентябре 1913 года исполнялось 50-тилетие существования газеты «Русские Ведомости». В Москве был организован комитет по чествованию «независимой» русской газеты, просуществовавшей такой долгий срок.

В этот комитет вошел и я.

После юбилея был выпущен сборник, посвященный воспоминаниями об основателях и сотрудниках «Русских Ведомостей».

Я, как участник юбилея, припоминаю некоторые подробности его, о которых в то время нельзя было писать, так как дело касалось административных распоряжений, предпринятых против чествования неугодной правительству газеты, в которой правительственный нюх всегда чуял крамолу, налагая на редакторов время от времени кары; для этого в газете держались «ответственные» редактора, специально для «отсидок» по местам заключения...

Торжественное заседание было назначено днем 6 октября в «Славянском Базаре», а вечером там же подписной ужин-банкет.

Сначала заседание шло без всяких инцидентов: читались адреса от различных учреждений, групп и отдельных лиц, читались телеграммы, которых было до двух тысяч.

Когда было прочитано до 10 адресов, выступили с довольно смелым адресом прогрессисты. Пристав Городской части Строев, назначенный следить за собранием, все время сидел за столиком в переднем ряду и записывал, видимо, содержание адресов.

Во время чтения адреса прогрессистов, он неожиданно прервал заседание, об'явив его, на основании какой-то статьи, закрытым.

Раздалось несколько возмущенных возгласов, однако, все поднялись и стали расходиться.

Через несколько часов в комитете получилась бумага от градоначальника с требованием представить немедленно в градоначальство список ораторов и конспектов речей, которые будут произноситься на банкете.

Комитет экстренно собрался в «Литературно-Художественном Кружке» для обсуждения этого требования,—и было решено не посылать списка в градоначальство.

Когда начали собираться вечером на банкет подписавшиеся, а их было около 600 человек, то увидали, что около под'езда «Славянского Базара» и

по Никольской улице стоит наряд человек в 50 городовых с околоточными надзирателями.

Начался ужин, стали произноситься речи. Пристав Строев был тут, и во время одной речи об'явил, что закрывает банкет, и приказал притушить огни. Произошло замешательство: кто стал одеваться и уходить, а многие остались сидеть за столами. Иван Бунин подошел к приставу и заявил, что он не уйдет, пока не подадут ему заказанный кофе. Пристав попросил Бунина следовать за собой для составления протокола.

— Нет, вы за мной следуйте,—сказал Бунин и пошел к своему столу.

— Ваше имя и звание?—начальнически спросил пристав.

Бунин дал ему свою визитную карточку.

Пристав начал составлять протокол. Бунин заявил, чтобы в свидетели были поставлены академик Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский и Николай Александрович Попов.

На другой день Бунин поехал к градоначальнику и рассказывал нам о своем визите к нему. Градоначальник, выслушав его, заявил, что ничем не может ему помочь.

— Да я не защиты приехал просить у вас, а жаловаться на некорректное поведение ваших подчиненных,—заявил Бунин.

Градоначальник переменил тон, предложил ему кресло, и очень огорчался тем, что в свидетели был поставлен академик Овсянико-Куликовский.

— Ну зачем вам было нужно его тревожить?— Дело пошло к прокурору,—там все выяснится...

Но дело это было замято. Бунин уехал из Москвы, и кончилось ничем,—может быть, потому, что и сам Бунин был почетным академиком...

В период русско-германской войны, в самом ее начале, в русской литературе чувствовалось угнетенное настроение. Война была не популярна: даже в простой народ проникало сознание, что война ведется не потому, что кто-то посягает на нашу «веру, царя и отечество», а из-за каких-то других целей правительственной кучки людей.

Литература в отношении к войне разделилась на несколько лагерей: одни бряцали оружием с криком: «шапками закидаем», другие порицали войну вообще, а третьи прямо стали противниками правительства и желали ему поражения.

Помню, в то время у группы литераторов и газетных работников возникла мысль издать альбом автографов писателей, артистов, музыкантов и общественных деятелей в пользу раненых, которые в Москву прибывали тысячами. Для осуществления этого дела предполагалось всем известным людям в области науки и искусства раздать карточки чистой бумаги с тем, чтобы они напи-

сали на них свои мысли о войне. На мою долю выпала раздача карточек писателям.

Издание это, не помню почему, не осуществилось, но некоторые писатели прислали мне заполненные карточки, часть которых хранится у меня до сего времени; по ним можно судить в каком настроении находились тогда писатели.

Наиболее воинственные из них писали:

Врага влечет гордыни темный рок.
Звезда любви сияет перед нами,
Мы миру мир скуем мечами,—
За нами правда. С нами Бог!..

Эта карточка подписана:

«А. Куприн. 1914 г. 18 сентября. Гатчино».

Большинство же писателей называли войну «страшным злом, бедствием» (Н. И. Тимковский), или верили и ждали, «когда люди перестанут истреблять друг друга...» (С. А. Найденов).

Но не только писатели из Гатчины бряцали оружием и лихо гарцовали вдали от передовых позиций,—находились такие и в Москве, но в общем их было немного: их спесь сильно поубавилась, когда Москва переполнилась ранеными...

Война многих писателей вытеснила из насиженных мест, а пришедшая революция буквально перетасовала писателей и в территориальном и в идеологическом смысле. Москва сделалась центром

всей жизни страны, и многие петербургские и провинциальные писатели переселились в Москву и осели в ней. Так в Москве поселился известный писатель Игнатий Николаевич Потапенко, Сергей Яковлевич Елпатьевский, Иван Сергеевич Рукавишников, Любовь Яковлевна Гуревич, Михаил Михайлович Пришвин, Александр Алексеевич Богданов—старый революционный поэт, Алексей Иванович Свирский, известный своими рассказами из жизни босяков, которые он начал писать гораздо раньше Горького. В Москве А. И. Свирский вошел во «Всероссийский союз писателей», сделался заведующим «Домом Герцена», который своими стараниями сумел восстановить, и он стал центром большинства литературных обществ, союзов и организаций.

В первые годы в Москве проживал Сергей Иванович Гусев-Оренбургский. Он был женат на поэтессе Галиной—Глафире Адольфовне Эйнерлинг. С. И. Гусев—уроженец Оренбургского края, где некоторое время был священником, потом расстригся и сделался писателем. Почти все герои его произведений взяты из духовенства. Большая повесть «Страна отцов», напечатанная в сборниках «Знание», составила Гусеву имя в литературе.

Гусев часто гостил у меня и, по старой провинциальной привычке, любил играть в стуколку, но играл всегда скупо, никогда не рискуя.

Однажды В. А. Гиляровский, обедая у меня вместе с Гусевым, подметил у него одну характерную черту и после сказал мне:

— Ты видел, как Сергей Иванович берется за рюмку?

— Видел, но что же тут особенного? Берет рюмку, как и все.

— То-то, что не как все: он, когда берет рюмку правой рукой, то левой поддерживает правый рукав пиджака,—это у него старая поповская привычка сохранилась,—ведь у поповских ряс рукава-то широкие...—пояснил Гиляровский.

Гусев, кроме прозы, пробовал писать стихи. В 1905 году он написал стихотворение «9-е Января», напечатал его в одном сатирическом журнале и за это преследовался царским правительством.

Революция породила целую плеяду новых, молодых писателей, сгруппировавшихся около различных организаций: «Кузницы», «Всероссийского союза писателей», «Всероссийского союза крестьянских писателей», «Всероссийского союза поэтов», «Кружка имени Неверова», «Всероссийской и Московской ассоциаций пролетарских писателей»; около журналов: «Красная Новь», «Красная Нива», «Новый Мир», «Молодая Гвардия», около группы «Никитинские Субботники», «Перевал», «Звено», «Узел» и множества других журналов, газет и литературных групп.

Одной из самых обширных группировок, в настоящее время, можно считать «Никитинские Субботники». Благодаря необыкновенной любви к литературе основательницы этих «Субботников», в это об'единение вошли писатели всех групп и направлений. Эти «Субботники» по своей конструкции очень напоминают старые литературные «Среды», только менее изолированы от наплыва людей пишущих, не представляющих из себя однородного состава.

Как некоторые группы существовали еще до революции («Никитинские Субботники», «Всероссийский союз крестьянских писателей», образовавшийся из «Суриковского кружка»), так и многие из писателей начинали свою деятельность еще в дореволюционное время и только в годы революции выявили себя во всей полноте. Из них можно указать на умерших недавно Александра Васильевича Ширяевца и Александра Сергеевича Неверова, Сергея Александровича Есенина и ныне живущих: Сергея Антоновича Клычкова, Петра Васильевича Орешина, Ивана Михайловича Касаткина, Николая Никандровича Никандрова, Николая Николаевича Ляшко-Лященко, Алексея Силыча Новикова-Прибоя, Александра Степановича Яковлева, Павла Георгиевича Низового-Тупикова, Леонида Максимовича Леонова, Михаила Михайловича

Пришвина, Семена Павловича Под'ячева, Сергея Михайловича Беляева и многих других.

Много поэтов и прозаиков появилось в самые годы революции; некоторые из них уже заняли свое место в русской литературе, как, например, поэты: Владимир Тимофеевич Кириллов, Михаил Прокофьевич Герасимов, Василий Васильевич Казин, Сергей Александрович Обрадович, Василий Дмитриевич Александровский, Николай Гаврилович Полетаев, Наседкин и многие другие.

Из умерших: А. В. Ширяевца я мало знал, а с А. С. Неверовым, переселившимся из Поволжья в Москву в первые годы революции, познакомился у А. С. Новикова-Прибоя, хотя, как о писателе, я слышал о нем несколько раньше. Его настоящая фамилия была Скобелев.

В 1922 году из Крыма вернулся в Москву И. С. Шмелев. При первой встрече мы долго беседовали с ним; он, как надолго оторванный от литературной жизни Москвы, интересовался всем, что происходило в его отсутствие; много рассказывал он о пережитом им в Крыму. Когда я стал называть ему новые литературные имена, он только повторял одно: «Не знаю такого. Не слыхал. Не знаю»...

Разговор коснулся об остро пережитых в продовольственном отношении годах, 1919—20. Между прочим, Шмелев сказал: «Мне и самому пришлось пережить голод,—питался чем попало, ухитрялся печь какие-то лепешки из выжимков винограда,—но что происходило в Поволжье и других городах, я представить себе не могу,—читал, что доходили до людоедства,—и никто за это время не мог в художественной форме передать этого ужаса. Только случайно я где-то прочитал отрывок какого-то Неверова, где он описывает голод, и по этому отрывку я мог почувствовать настоящий ужас голода. Вот это было написано настоящим писателем! Вы не знаете этого Неверова?»—спросил Шмелев.

Я сказал, что лично Неверова не знаю, но слышал о нем, что он житель Поволжья, учительствует и написал какую-то пьесу.

Вскоре после этого разговора я и познакомился с Неверовым. От первой встречи с ним у меня осталось очень хорошее впечатление,—это был простой, сердечный и по-настоящему преданный литературе человек. Я это заключил потому, что в то тяжелое в продовольственном отношении время, когда при встречах разговор неизбежно сводился только к муке, картофелю, маслу,—к самым необходимым средствам питания,—от Неверова я ни единого слова не услыхал об этих предметах,—он говорил только о своих работах по просвещению народа, о литературе. И я тогда же вспомнил слова Шмелева: «Это настоящий писатель!».

А. С. Новиков-Прибой угощал нас чаем с прекрасным медом, привезенным ему из Тамбовской губернии. Беседовали мы долго,—нашли общих знакомых в Поволжье, вспоминали о них...

Из этой беседы я узнал, с какой любовью, заботливостью относился Неверов к людям, попавшим в тяжелое положение.

После первой встречи я нередко встречался с ним в литературных обществах, в редакциях, издательствах. Звал он меня к себе,—он жил на Полянке в общежитии вместе с поэтами Кирилловым и Герасимовым, но я никак не мог собраться к нему, и только пришлось проводить его на Ваганьковское кладбище. Он похоронен в той части кладбища, где давно уже успокоились его собратья по перу, так же, как и он, любившие народ—Н. Н. Златовратский, А. И. Левитов, Н. М. Астырев, Ф. Д. Нефедов, Николай Успенский и другие писатели.

Умер Неверов от сердечного припадка 23 декабря 1923 года.

Когда в Москве получилось известие о смерти Сергея Александровича Есенина, мне вспомнился 1910 год: ко мне пришел белокурый, скромный, мальчик, до того робкий, что боится даже на стул присесть,—стоит и мнет в руках картузик. Его привел ко мне репетитор моих детей—Владимир Евгеньевич Воскресенский—«вечный студент» Московского университета, типа «шестидесятников», служивший корректором при типографии Сытина.

— Я к вам поэта привел,—сказал Воскресенский, и показал несколько стихотворений.—Это вот он написал—Сергей Есенин.

А молодой поэт стоял, потупившись, опустив глаза в землю, и молчал.

Я не помню, что я сказал, прочитавши стихи: слово «Сергей Есенин» тогда ничего не говорило. Но вот получилось известие о его смерти, и это слово стало у всех на устах. Книги его стихов раскупались на расхват; все, кто знал его при жизни, стал делиться своими воспоминаниями о нем. Литературные общества устраивали вечера, посвященные его памяти. Так, были устроены вечера в «Камерном театре», в «Художественном театре», в «Академическом театре», в «Союзе писателей», в «Обществе Любителей Российской Словесности», в «Союзе поэтов», в обществе «Звено», в «Доме Печати» и многие другие и не только в Москве, но и в других городах. Все эти собрания были переполнены публикой.

Вспоминается мне вторая встреча с Сергеем Есениным,—это было в 1919 г., когда в Москве ставились временные памятники поэтам Шевченко, Кольцову, Никитину.

При открытии памятника Кольцову, Есенин,— тогда молодой еще, задорный,—говорил свое стихотворение, стоя у подножия памятника.

Как сейчас слышу его голос, вижу его фигуру с поднятой головой с кудрявыми белокурыми волосами. Он бросал в толпу новые, смелые слова:

О, Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Идет иная степь!
По голубым долинам,
Меж телок и коров,
Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов...
А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я!..

И тогда не я один, а многие почувствовали, что к нам пришел новый Кольцов.

Вспоминаются мне голодные 1919—20 годы, когда каждый кусок хлеба считался «милостью неба», когда об обеде мечтали, как о чем-то необыкновенном. Василий Львович Львов-Рогачевский, всегда любовно и заботливо относившийся к молодым дарованиям, начал устраивать в столовой

для рабочих, помещавшейся в бывшем ресторане в Петровских линиях, вечера народной поэзии. Вывешивались у входа в столовую такого рода афиши: «Вечер поэтов полей и лесов» и пр.

На один из таких вечеров был приглашен Сергей Есенин. В. Л. Львов-Рогачевский пригласил и меня.

Рабочая публика сидела за столиками и обедала, а мы с эстрады читали стихи, за это получали обед и несколько рублей денег. Во время перерыва подошел ко мне Есенин и говорит:

— А знаете ли, какое ваше стихотворение я никак не могу забыть? Я его помню дословно и часто повторяю.

И он прочитал нежно, задушевно 8 строк моего стихотворения:

Золотой иду дорожкой,
В золотом сияньи дня,
И деревья золотые
Сыплют листья на меня.
И тепло, и грустно,—тихо,
Даль прозрачна и светла,—
Но природа застывает...
Если б смерть такой была!?.

Так вот еще когда Сергей Есенин любил думать о смерти!

И еще одна последняя встреча с ним—самая близкая к его роковой развязке. Это было за несколько дней до его последней поездки в Ленинград. Перед этим я не видал его довольно продолжительное время и нашел его страшно изменившимся: это уж был не тот робкий мальчик из типографии Сытина, который стоял передо мной и молчал,—нет, теперь он как-будто чувствовал в себе силу, теперь ему все было нипочем, все доступно, он мог говорить смело и не боялся никого,—ни людей с именами и с положением, ни общественных приличий, — словно он поборол жизнь и она была ему нестрашна.

Но все это только так казалось,—перед жизнью он был все тот же робкий мальчик. Чем смелее он подходил к жизни с поднятым забралом, тем сильнее она давила его, и окончилось тем, что он замолчал...

Я был на Октябрьском (Николаевском) вокзале, когда тело его было привезено из Ленинграда. Огромная толпа, едва помещавшаяся на перроне, встретила подошедший вагон с гробом поэта и провожала его до «Дома Печати». Там гроб был поставлен в траурном зале, и когда я стоял в почетном карауле и смотрел в изменившееся до неузнаваемости лицо поэта, мне опять вспомнился тот робкий мальчик, который приходил ко мне со стихами.

В день смерти Есенина я прочитал в журнале «Красная Новь» его стихотворение, и последние строки его меня поразили:

> Не все ль равно,—придет другой,—
> Печаль ушедшего не сгложет,
> Оставленный, по дорогой—
> Пришедший лучше песню сложит.
> И песне внемля в тишине,
> Любимая с другим любимым,
> Быть может, вспомнит обо мне,
> Как о цветке неповторимом!..

И я подумал: когда умер Пушкин, поэт Тютчев сказал:

> Его, как первую любовь,
> России сердце не забудет!..

А Сергей Есенин, уходя, про себя сказал, что память о нем будет жить,

> Как о цветке неповторимом...

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

имен, встречающихся в „Литературной среде"

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я